



Элина Быстрицкая

# Долгое ЭХО любви



## От автора

Говорят, у каждого человека есть своя Книга судьбы. В моей уже известно много глав и страниц. Я мысленно листаю их, перечитываю. Есть яркие, написанные в счастливые для меня дни и годы. Встречаются тяжелые, окрашенные в серые, а то и в совсем темные тона. Жизнь есть жизнь, в ней случается всякое.

Вот навскидку одна из «записей» — для меня неожиданная, но приятная. Она относится к 1999 году. «Комсомольская правда» попросила читателей составить список из ста самых красивых женщин XX столетия. А потом журналисты «Комсомолки» принесли мне газетный разворот с фотографиями ста красавиц. Первое место большинство читателей отдали мне. Далее шли Ирина Алферова, Анастасия Вертинская, Алла Ларионова, Людмила Хитяева. И лишь во второй пятерке значились звезды западного кино: Мэрилин Монро, Брижит Бардо, Мишель Морган и другие очаровательные женщины, покоровшие мир красотой. Мне было приятно, что русские актрисы возглавили этот звездный парад.

Я понимаю, что такой опрос — всего лишь журналистские игры. И все же отраднo видеть за ним признание моих соотечественников.

Другая популярная газета написала обо мне: «Любимица страниц и дворцов». Надеюсь, что по поводу страниц — это правда. А вот с дворцами все гораздо сложнее.

Впрочем, не буду цитировать, что обо мне еще писали, — в одних случаях это было бы нескромно, в других — горько и обидно. Иногда ведь даже похвалят так, что слезы на глаза набегают.

## ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ

Бог не обделил меня внешними данными. Но я никогда не участвовала в конкурсах красоты.

Помню, что впервые слова «какая хорошенькая девочка» услышала от раненого солдата фронтового госпиталя, где я, тринадцатилетняя девочка, работала санитаркой. Я оглянулась: о ком это он? Оказалось — обо мне.

Девочка давно стала взрослой, актрисой кино и театра. На ее долю выпало узнать многое: и творческие муки, и всенародное признание, и подозрительность сильных мира сего.

Мне досталось редкое счастье: встретить на перекрестках своей судьбы, на ее широких дорогах и узких тропинках многих замечательных, поистине уникальных людей. И о них — это повествование. Ведь по сути дела весь человеческий путь — это череда встреч с другими людьми, другими судьбами.

Я не стремилась написать автобиографию. В этой книге — лишь фрагменты, «кусочки» моей судьбы, рассказ о памятных событиях и дорогих мне людях. И я старалась быть объективной, мне не хотелось бы даже по неосторожности кого-либо обидеть — я научилась забывать неприятности и помнить добро.

Воспоминания теснятся, подсказывая то, что хотелось бы забыть, и напоминая о счастливых днях и встречах, даривших надежды, что все в жизни будет хорошо, что я сумею совершить много доброго и нужного.

Моя Книга судьбы еще не дописана, жизнь продолжается, и, как положено, она полна неожиданностей. Девочки уже нового времени с жадным любопытством спрашивают меня в письмах и на встречах: «Как вы стали актрисой?»

Господи, какой вечный вопрос! Мой ответ читатели найдут на страницах этой книги. И пусть тем, кто решится избрать для себя трудную и счастливую профессию служения театру, тоже светят звезды надежды...

# Полевая почта № 15938

Название первой главы моей книги заставит иного читателя подумать: опять о войне... Нет, не только о войне — о себе, о том, что я не забыла и забыть никогда не смогу.

Меня часто спрашивают о моих корнях. Откуда, мол, ты и все твои предки? Многие журналисты даже пытались отыскать у меня в роду голубую кровь, а когда я сыграла Аксинью в «Тихом Доне» — видели во мне казачку во всем великолепии физической и духовной красоты. Донские казаки говорили мне: «Ты же наша, станичница, с Дона...»

Я никогда не придавала особого значения имени, отчеству, происхождению, а на часто задаваемый мне вопрос: «Откуда ты?» — говорила просто: «С Украины». Так было до тех пор, пока не получила право отвечать: «Из Москвы».

Да, мои корни на Украине. Там родилась и выросла моя мать Эсфирь Исааковна. Отец Авраам Петрович — из Польши, но долгие годы тоже жил на Украине. Там редко говорят «Авраам», бытует имя Аврам. Оно попало и в мою метрику в графу об отце. И так уж сложилось, что мои друзья и коллеги зовут меня Элиной Аврамовной, а не Авраамовной.

Имя мне выбрала мама — она очень любила героиню Кнута Гамсуна из пьесы «У врат царства». Правда, имя мое должно быть с двумя «л», но при оформлении документов паспортистка, вероятно, ошиблась, и меня записали Элиной.

Если говорить, на кого я похожа, то, наверное, на всех своих родственников одновременно. Вроде бы на маму, но по некоторым чертам лица — на отца. Нос мне достался точно от бабушки.

Мне рассказывали, что когда мама меня носила, она соблюдала все народные, как у нас называли, женские «забобоны». Весь срок беременности она не смотрела и не слушала ничего такого, что могло бы вызвать отрицательные эмоции. Избегала любых ссор, а если при ней возникали какие-то перепалки — просто отходила в сторо-

ну. Это было разумное поведение, подсказанное народным опытом.

Я родилась в 1928 году в Киеве — в доме № 1 по улице Каравановской. Мама работала в школе, отец — военный врач, постоянно разъезжал по воинским гарнизонам, больницам, госпиталям.

Жили мы в квартире, которая принадлежала бабушке. В одной комнатке ютились бабушка, старшая мамина сестра и мой двоюродный брат. Во второй, в десять квадратных метров, — папа, мама и я. В комнатке стояли родительская кровать, моя кроватка, а когда через девять лет появилась сестричка, она заняла кроватку, а меня «выселили» на раскладушку. Еще стояли шкаф и маленькая этажерка с папиными книгами.

Как мы все вмещались в эту квартирку, сегодня я просто представить себе не могу. Правда, так жили не только мы, так жили очень многие. Дома были набиты людьми, как ульи пчелами. В моей памяти сама эта бабушкина квартирка почти не сохранилась, но я до сих пор помню: ее многочисленные обитатели непрерывно готовили еду, стирали, сушили белье. И, несмотря на такое скопление людей, ссоры были большой редкостью.

В нашем доме на лестнице был устроен детский «театр». Были места для зрителей — родителей и соседей, между этажами площадка — сцена и балкон — закулисье. Особенно часто мы представляли что-нибудь из «Чапаева». Чапаем был мой двоюродный брат, я, естественно, — Петькой. Выходила и важно командовала: «Тихо! Чапай думать будет!» Мне казалось, что я говорю это строго, и непонятно было, почему взрослые весело смеются.

В ответ на вопрос, откуда я родом, я могла бы ответить: из бедности, из коммуналки, из войны. Самое удивительное, что никто эту бедность не ощущал, — мы свято веровали, что это и есть счастливая жизнь, а завтрашняя жизнь вообще будет замечательной.

Но все же теснота нас донимала. И когда папе предложили переехать служить из столичного Киева в маленький городок Нежин, где можно было получить отдельную квартиру, он охотно согласился. Папу не смущало, что мы меняем столицу на провинцию, — он был человеком без ненужных амбиций. В Нежине находился военный гарнизон и требовался врач. Это был тихий зеленый городок.

Когда настало лето 1941 года, мы решили, что каникулы проведем у папы. Перед отъездом мама понесла в починку примус. Слесарь ей сказал:

– Куда вы едете, мадам? Будет война!

– Не говорите глупостей! – решительно ответила моя оптимистка мама. Хотя о надвигающейся войне тогда говорили многие.

Мы поехали. Взяли только летние вещи, предполагалось, что я буду купаться и загорать. В Киеве остались вся наша теплая одежда, альбомы с фотографиями, все то, что в каждой семье накапливается годами.

Несколько лет назад я попыталась у давних знакомых нашей семьи по Киеву отыскать наши семейные фотографии. Нашлись три-четыре, остальные погибли в огне войны, которая обрушилась на страну, на всех нас.

Она началась внезапно – бомбежками близкого Киева, спешной погрузкой частей местного военного гарнизона в эшелоны, воздушными тревогами, длинными очередями на призывных пунктах.

Я тоже хотела защищать Родину. И через неделю после начала войны, в конце июня, пошла в госпиталь, в котором служил мой отец. Его хорошо знали и уважали. Конечно, можно было попросить папу определить меня на службу, но я решила действовать самостоятельно: уже в то время я полагалась на собственные силы, и этот принцип остался в основе моего характера навсегда.

Часовые на проходной остановили меня, мне не удалось упротить их пропустить меня внутрь. Тогда я завернула за угол ограды и перелезла через нее.

В штабе госпиталя я нашла кабинет комиссара, смело вошла к нему и заявила:

– Хочу помогать фронту.

Фамилию комиссара я запомнила – Котляр. А имя и отчество уже стерлись в памяти. Он внимательно посмотрел на меня – толенькую, худенькую – и спросил:

– Что ты умеешь делать?

Я очень важно, с достоинством ответила:

– Для фронта я умею делать все.



Комиссар вполне серьезно решил:

– Хорошо, будешь работать в нашем госпитале. Разносить раненым почту, писать им письма под диктовку, читать газеты...

Комиссар был мудрым человеком. Он понимал, как важно искалеченным войной людям общаться с приветливой, жизнерадостной девочкой.

Вначале на довольствие меня не ставили, сделали это потом, когда увидели, что я не сбежала ни от крови, ни от боли. Так я стала помогать армии, и эта служба продолжалась довольно долго.

Госпиталь располагался в Гоголевском лицее, в котором перед войной и после нее находился Нежинский педагогический институт, теперь это педагогический университет с долгой и славной историей. Когда я первый раз в 1948 году пришла туда на занятия и увидела аудитории, в которых в 1941 году были обустроены госпитальные палаты, лежали раненые, мне показалось, что я возвратилась в прошлое, в страшные дни начала войны, ужасы отступления по всем фронтам.

Госпиталь развернули как стационарный, но в Нежине он оставался очень недолго, так как вскоре пришлось отступать. Я пишу деликатно: отступать... Фронт быстро докатился до нашего городка. Из Нежина лаборатория, которой руководил мой отец, и еще какое-то подразделение госпиталя выбирались на крытых грузовиках. Весь остальной личный состав уезжал поездом. Мы должны были соединиться на небольшой станции Готня под Харьковом.

Дорога, по которой мы двигались на своих грузовиках, шла мимо сел, между горящими полями. Неубранный хлеб сжигали, чтобы ничего не досталось врагу. А урожай в то лето выдался богатый... Низко стелился дым, пламя катилось по полям, и казалось, это сгорает наша прежняя жизнь.

Чтобы проскочить через пожарища, мы поливали брезент кузова водой. Это был ужас, и не верилось, что нам удастся выбраться из огненной западни. Первую ночь мы провели в сарае вместе с кроликами. Радовались, что над головой была крыша.

Мы ехали через город Сумы. Карты не было, дорогу спрашивали у местных жителей, один раз нам ее неправильно показали, и мы

едва не попали к немцам. Обстановка сложилась такая, что невозможно было понять, где враги, а где наши.

Все-таки добрались до Готни, и там был развернут наш госпиталь. Не успели принять раненых, как нас отправили дальше. Давние очень дела, но все же ветераны, фронтовики, кому довелось там быть, помнят, что тогда творилось под Харьковом и на Северском Донце: наши войска наступали, отступали и в конце концов попали в окружение, которое позже получило название «харьковской мясорубки». Наших бойцов и командиров полегло там без счета.

Тем не менее наш госпиталь сумел пробиться. Какой-то военный начальник, спасая раненых и врачей, своевременно отдал милосердный приказ покинуть Готню. Мы видели, как из отступавших красноармейцев наспех формировались части и им отдавался приказ стоять насмерть. Они и стояли, пока не погибали... Насмерть.

Что из себя представлял наш эшелон? Товарные вагоны-теплушки, двери раздвигаются в две стороны, и по обе стороны от дверей в два «этажа» настелены нары, сколоченные из широких толстых досок. Я помню, что мы были на втором «этаже». Рядом с нами оказалась доктор Шульга, беременная, животик у нее был уже достаточно большой. А внизу – доктор Быховский. Вагон забили до отказа, я даже не знаю, сколько нас в него затолкали.

Туалета в теплушке, ясное дело, не было. Приспособили горшки, кастрюли и отгородили уголок ширмой из тонких одеял. Вначале смущались, но вскоре привыкли. Вот так мы и ехали...

Самые жуткие воспоминания – бомбежки. Никогда не знаешь, не можешь предугадать, что будет в следующий момент. И не всегда удавалось выскочить из теплушки...

Через некоторое время врачи сказали, что нас направляют под Сталинград, где шли кровопролитные бои. Нас бомбили почти каждый день – большие красные медицинские кресты на крышах не спасали. Я помню одну страшно жестокую бомбежку. Как только появились вражеские самолеты, раздалась команда: «Всем из вагонов!» Я побежала вместе со всеми в степь и оттуда видела, как самолеты бомбили и расстреливали беззащитный санитарный

поезд. Вагоны горели, взрывы бомб сбрасывали их с рельсов... Не приведи господи!

Нам помогли железнодорожники и подросшие на помощь бойцы какой-то части — собрали уцелевшие вагоны в подобие эшелона. Погибших (25 человек) сложили на крыши вагонов. Командование распорядилось отправить нас в ближний тыл на переформирование. Госпиталю сменили номер: был 1954, стал 3261. Отец принял решение, повергшее нас с мамой в шок: он попросился добровольцем под Сталинград. Собирая вещмешок, он говорил: «Я скоро вернусь!» А мы думали, что больше никогда не увидим его.

Наш госпиталь отправили в Уральск на переформирование, но часть личного состава попала в Актюбинск, в том числе и я с мамой и сестренкой. Это был тыловой город, где сбились в то время тысячи эвакуированных, раненых. Все школы были заняты госпиталями. Раненые мрачно шутили: из Актюбинска две дороги — в землю и на фронт. Мы хотели на фронт и дожидались приказа. Нам говорили: «Ждите!» В ожидании решения своей судьбы мы снимали комнату у какого-то железнодорожного служащего. Было не только голодно, но и страшно холодно: стояли суровые казахстанские морозы. Уголь и дрова в степном Казахстане стоили невероятно дорого, и каждый день я уходила в степь собирать кизяки и сухую полынь — единственные доступные нам виды топлива. Они сгорали в одно мгновение, и надо было успеть испечь лепешки на плите. Тепла ждать было нечего.

Вскоре моя настойчивая интеллигентная мама через военкомат все-таки разыскала наш госпиталь в Уральске, и мы отправились туда. Но там долго не задержались — госпиталь перебросили в прифронтовую зону. Так мы попали в только что освобожденный Донецк.

В городе было очень много незахороненных трупов. Шурфы шахт были заполнены сброшенными в них останками людей. Донецк весь пропитался тошнотворным запахом гниения и смерти. В развалинах еще прятались немцы, их отлавливали, отправляли на сборные пункты.

Запах смерти и тлена я помню, а время года — нет. Господи, почему я этого не помню? Может быть, потому, что краски природы не

воспринимались, их просто не было, все вокруг казалось черным-черно. А еще вот почему каких-то деталей не помню: я заболела, была без сознания. Меня на носилках унесли в подвал железнодорожной поликлиники, где разместился главный корпус госпиталя. Когда я пришла в себя, услышала немецкую речь. Я решила, что попала в плен, а оказалось, что рядом бредил раненый немец.

Я перебарывала болезнь, а тем временем разворачивали госпиталь. Он был большим – на пять тысяч коек. Все врачи, сестры и санитарки мыли полы и окна уцелевших зданий, выгребали мусор, ставили и стелили кровати, приносили отовсюду все, что могло пригодиться. Всю работу по устройству операционных, палат, лабораторий, аптечных пунктов делал личный состав. Никто не считался ни с должностями, ни с возрастом, ни со званиями. Ведь от того, как быстро удавалось развернуть госпиталь, зависела жизнь очень многих людей.

Выздоровливала я быстро. Да и залеживаться долго было нельзя – все выбивались из сил. В какой-то день ко мне подошла старшая сестра, спросила: «Встать можешь? Не хватает лаборанток...»

К этому времени я уже окончила двухмесячные курсы, после которых можно было стать медицинской сестрой. Но меня, малолетнюю, определили в лаборантки.

Когда приходили вагоны или машины с ранеными, на приемку выходили все. Наш госпиталь был сортировочным, и раненые поступали непрерывно. Я тоже выходила на приемку и чувствовала себя очень достойно оттого, что выполняю наравне со всеми тяжелую работу. Как мне удавалось с напарницей поднимать носилки с ранеными, сейчас представить просто не могу.

Втихомолку я гордилась, когда раненые в палатах говорили то ли в шутку, то ли всерьез: «Пусть придет вот та лаборантка, что с косичками, тогда я дам кровь, а другим – нет, не дам». Может, они представляли себе, что это к ним как бы приходит дочка или младшая сестричка. А я изо всех сил старалась сделать укол так, чтобы им не было больно. Освоила маленькую хитрость: надо отвлечь внимание раненого от укола каким-нибудь иным физическим действием – например, легонько шлепнуть его ладошкой. Понемногу я научилась пользоваться микроскопом, потом стала самостоятельно делать все

## ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ

анализы. Словом, я стала хорошей лаборанткой военного госпиталя, мою работу ценили и перестали делать скидку на возраст.

Меня порою спрашивают: что самое страшное было в войну? Я могла бы назвать многое: смерть людей на моих глазах, запах крови, который меня потом долго преследовал, горящие дома, станции и города, голод и холод.

А еще я вспоминаю железнодорожную станцию, на которой остановился наш эшелон. Рядом стоял развороченный бомбой или снарядом большой пульмановский вагон. Ветер выносил из него в черную обугленную степь белые треугольники – письма с фронта и на фронт. Я печально смотрела на эту горестную метель: сколько же людей не дождутся весточки от своих родных, будут думать, что они погибли, сгинули, пропали бесследно в урагане войны!

Это видение преследовало меня многие годы и после войны. Я иногда видела, что и раненые бойцы смотрят со страшной тоской в глаза на метель из писем. Может быть, каждый из них думал, что в неизвестность улетал и его треугольник. Я бросалась делать успокоительные уколы, что-то лепетала о том, что письма соберут и отправят по назначению.

– Хороший ты человек, дочка, – хмуро сказал один из раненых. Остальные молчали.

Мне хотелось крикнуть им, что, возможно, среди этих писем и мое письмо или весточка мне от папы. Но я промолчала: зачем добавлять к чужому горю свое? После того как папу отправили под Сталинград, мы изредка получали от него письма. Он писал, что жив, здоров, приходится трудно, но он надеется на скорую встречу. Потом письма перестали приходить и наступило глухое молчание. Мы с мамой подозревали самое худшее. Как могли, разыскивали папу, но ответа на свои запросы по месту его последней службы не получали. И каждый день надеялись: вот сегодня придет от папы письмо...

Оно пришло через несколько месяцев. Папа писал, что из-под Сталинграда его направили на Кавказ, где шли кровопролитные бои. Его часть попала в окружение. Они получили приказ выходить к своим поодиночке, мелкими группами. Папа отрастил бороду,

обзавелся штатской одеждой. (В семье у нас хранилась фотография отца тех страшных дней: незнакомый человек с бородой, с глубоко запавшими глазами, в стареньком ватнике. Потом она исчезла – так случается, что самое дорогое мы не умеем сохранить.)

Однажды тяжело заболел генерал, командовавший остатками разгромленных войск. За ним прислали самолет с «Большой земли», как тогда говорили. Папу-врача приставили его сопровождать. Так он пересек линию фронта и немедленно стал нас разыскивать.

Отец и мама очень любили друг друга. Их любовь одолела все – войну, разлуку, горе. Для меня они на всю жизнь остались примером верности и преданности высоким чувствам.

Разыскать нас было нелегко. Госпиталь двигался вместе с линией фронта, с наступающими или отступающими войсками. Наше дело было принять раненых и «рассортировать» их. Кого в глубокий тыл, кого поближе, а иных, кто умирал, – похоронить.

Из Донецка нас перебросили на Северский Донец, в станицу Обливскую, там я впервые познакомилась с казаками и казачками, не подозревая, что когда-нибудь судьба подарит мне роль Аксиньи из «Тихого Дона».

Из Обливской мы попали в Одессу. Там была все та же тяжелая военная работа: раненые, умирающие и выздоравливающие, «выписывающиеся» на фронт или навсегда ставшие инвалидами. Это было страшно: вечером поправить тяжелораненому подушку под головой, уйти с дежурства, а утром узнать, что он умер. Смерть чаще всего приходила по ночам.

Меня редко назначали на ночные дежурства. Я их боялась, так как мне казалось, что ночью по пустым коридорам бродит смерть и заглядывает в палаты, где стонут от боли раненые. Через мои руки прошли сотни раненых, но лишь с одним из них я встретилась после войны. Было это уже на дипломном курсе театрального института. Или на преддипломном – не помню точно. Я зашла в гастроном рядом с домом, чтобы попить соку. Чувствую, из маленькой очереди смотрит на меня внимательно плотный крупный человек. И вдруг окликает: «Эла!» Меня так называли в детстве. Я не понимала, откуда он меня может знать. А парень говорит: «Я – Харченко». Вспомнила... В наш

госпиталь привезли новую партию раненых, среди них один был особенно тяжелый. Врачи решили делать ему прямое переливание крови. Не буду вдаваться в медицинские подробности, скажу лишь, что раненый и донор лежат рядом на столах, они «соединены» так, что кровь из вены донора течет прямо в вены раненого. Я вошла... Лежал человек с закрытыми глазами, очень бледный, у него были темные волосы и очень длинные загнутые ресницы. Меня положили на стол рядом с ним, и моя кровь потекла в его вены. Взяли ее около 500 граммов. Я сильно ослабла. Сестры помогли мне встать со стола, отвели в комнату, где я могла отлежаться, — сильно кружилась голова. Одна из них по пути сказала: «Твоего крестника зовут Вася Харченко».

В госпитале было принято: та медсестра, которая отдала кровь раненому, должна его и выхаживать. Меня, лаборантку, не очень допускали в палаты, я посещала их тогда, когда надо было взять кровь у раненых, или на ходу быстро сделать анализ, или подменить на дежурстве сестру. И все-таки я навещала «своего» раненого, что-то приносила ему, сидела у его кровати и о чем-то разговаривала. Уже по опыту знала, что раненые очень любят, когда с ними говорят не о ранах, а о том, как идет жизнь на воле.

Дела Васи Харченко пошли на поправку, и его перевели в команду выздоравливающих. Такие команды находились при какой-нибудь воинской части. Медсестры из госпиталя обычно навещали тех, с кем подружились и кому симпатизировали. Так было принято, и девушки, побывав у «своего», потом с удовольствием делились впечатлениями, не скрывая и достаточно интимных подробностей.

Я узнала, куда направили Харченко, и поехала к нему, хотя это было где-то очень далеко.

Увидев меня, он страшно удивился и чуть ли не возмутился:

— Ты что здесь забыла?

Ему, парню, побывавшему в боях, было непонятно, зачем к нему явилась девчонка.

Вася очень резко выговорил мне за то, что я приехала к нему. Я не понимала, что плохого сделала, почему получила выговор.

Разобидевшись, я тут же собралась в обратную дорогу. Когда медсестры, гораздо старше меня, узнали о моем неудачном «пу-

тешествии», они ехидно улыбались, но ничего мне не объясняли. Одна из них сказала: «Хороший парень тебе попался, пожалел девчонку...» Я залилась густым румянцем, услышав эти слова.

Мне же просто хотелось узнать, что с ним. Все-таки не чужой — в его венах текла и моя кровь.

В 1944 году война покатила к закату, к Победе, и таким молоденьким, как я, уже не было особой необходимости служить.

Помню, замполит госпиталя мне сказал:

— Тебе надо учиться. Возвращайся в нормальную жизнь...

Замполит посоветовал мне зайти в штаб и взять справку о том, что я добровольно служила в действующей армии с такого-то по такой-то год. Тогда я, конечно, пропустила мимо ушей совет опытного человека и, припрыгивая и пританцовывая, понеслась собираться. Я и предположить не могла, что через годы настанет «время справок» и родится поговорка: «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек!»

Все мое имущество вместилось в вещмешок. Я ушла в мирную жизнь повидавшей войну и кровь, мне еще долго слышались разрывы снарядов. Но Бог оберегал меня: я не приучилась курить и пить, не утратила доверия к людям. Грязь ко мне не пристала.

Отец остался служить в армии, а мы с мамой и сестренкой поехали в Киев и увидели, что жить нам там негде. Наш дом разбомбили. Я пришла к руинам этого дома, мы жили там всю мою жизнь до войны. Я помнила его большим, трехэтажным (у нас квартира была на втором этаже). А теперь увидела груды мусора и остатки крыши, которые взрывная волна забросила на соседний дом. Больше всего было жаль, что погибли все наши семейные архивы. Война беспощадно уничтожила мое детство, разделила время на «до войны» и «после». Впоследствии несколько детских фотографий я нашла у знакомых.

Несмотря на то, что мы были киевляне, места в Киеве нам не нашлось. И мы поехали в Нежин. Через военкомат вернули жилье отца, в котором встретили войну. Правда, нам предложили немного повременить, так как там находилось отделение Союза польских патриотов, и пришлось ждать, пока его освободят. А выехали они



## ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ

после того, как закончилась война. До того мы снимали комнату у сотрудницы госпиталя.

Это было время, когда люди жили в ужасающей тесноте, но не в обиде — за редчайшим исключением все считали своим долгом помогать друг другу. Нас приютила врач-отоларинголог из госпиталя, в котором я служила. Естественно, возник вопрос, как мне быть, что делать дальше. Из госпиталя я ушла квалифицированной лаборанткой, могла, конечно, найти работу в какой-нибудь больнице или поликлинике, меня бы везде взяли. Но я хотела учиться. В школу идти было поздно, уже давно начался учебный год. Да и как я смогла бы учиться после такого длительного перерыва? И я поступила в трехгодичную фельдшерско-акушерскую школу — что-то вроде училища или техникума. Участие в войне давало мне право поступать сразу на второй курс. Кто-то из большого начальства разумно посчитал, что дни, проведенные на войне, тоже можно считать школой. Но я устояла перед соблазном воспользоваться этой льготой и пошла на второй семестр первого курса. За два с половиной года я окончила школу с отличием и добавила к своей военной специальности лаборантки специальности фельдшера и акушерки. Училась я легко — все это я уже «прошла» в госпитале.

Чтобы подвести черту под военным периодом своей жизни, расскажу о забавном эпизоде, который тем не менее причинил мне огорчения. В отделе кадров Малого театра была дама, которая заявила, что мое участие в войне — это все выдумки, сочинительство. Мол, Быстрицкая никогда и ни на каком фронте не была. Когда я узнала это, поехала в архив Министерства обороны (точное название не помню) в Звенигороде или в Подольске. Там подала заявление и попросила, чтобы нашли сведения обо мне и подтвердили участие в войне. Был уже 1984 год, и от войны нас всех отделяло тридцать девять лет. Можно представить, в каком я была ужасе, когда мне сказали, что моей фамилии в списках нет. Я настаивала, назвала номера госпиталей. Номер моей последней полевой почты был 15938. Номера менялись, когда госпиталь после бомбежек переформировывали, сливали с другими.

— Вы нигде не числитесь, — услышала я вновь.

– Этого не может быть! – твердо сказала я. И назвала фамилии начальника госпиталя, замполита, заведующего лабораторией, предъявила справку, что была лаборанткой.

– Не волнуйтесь, – успокоили меня работники архива. – Посмотрим более тщательно. А пока очень просим вас выступить перед нашим коллективом.

И пока я выступала, были найдены документы на мое материальное обеспечение в госпитале. Но не за весь период – это же надо было просмотреть безумное количество документов. Но и по тем, что нашли, мне определили полтора года службы в действующей армии. Это очень серьезный срок – такой есть не у каждого бывалого фронтовика.

Со временем меня наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями за участие в войне. И даже вручили значок «Сын полка» – звания «Дочь полка» не было.

Свой первый «мирный» орден я получила после поездки в США – «Знак Почета». Естественно, в Америке я никаких подвигов не совершала и искренне недоумевала, за что меня наградили: к орденам, как и у всех фронтовиков, у меня было святое отношение. Потом последовали другие награды: Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, еще один «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» II степени, а затем и I-й. Медали мне перечислить было бы сложно...

# На дальних подступах к мечте

По семейным планам я не должна была стать актрисой, мои родители решили, что я пойду по стопам отца. Он был очень уважаемым военным врачом широкого профиля, добросовестно изучил многие медицинские специальности. Если была необходимость оперировать — он оперировал, если требовалось лечить воспаление легких — он и это умел.

Мама тоже очень хотела, чтобы я продолжила папину профессию. И когда я впервые заговорила о театральном институте, они и слышать об этом не желали. Я с огромным пиететом, даже преклонением относилась к врачам, но у меня была своя мечта. Я не скрывала ее, хотя и понимала, что еще рано говорить о моем стремлении стать актрисой. Уступая воле родителей, я, фронтовая «сестричка», легко, без напряжения окончила медицинское училище. Как я уже упоминала, получила специальности фельдшера и акушерки. Диплом с отличием давал мне право без экзаменов поступить в институт. А в Нежине был единственный институт — педагогический. Против этого родители не возражали. Но я твердо решила, что буду бороться за свою мечту, и в педагоги не спешила. У меня были свои планы.

В нашей семье последнее слово принадлежало папе, и я отважилась на серьезный разговор с ним. Он приехал к нам в отпуск, первый раз после войны, из Дрездена, где тогда служил. Я выбрала удобный момент, чтобы заявить:

— Буду готовиться к поступлению в театральный институт.

Наверное, что-то в моем тоне было такое, что отец понял: это серьезно. И он, казалось, сдался:

— Хорошо, я сам посмотрю, что это за институт такой.

С искренним волнением вошла я в парадный подъезд этого учебного заведения, где, надеялась, найду свое счастье! Я шла рядом с отцом по ковровой дорожке, которая казалась мне неслыханной

роскошью, ведь всю войну мебель нам заменяли деревянные ящики, служившие и столами, и кроватями. Мне казалось, что на нас оглядываются все встречаемые, — отец был в военной форме: китель, начищенные до блеска хромовые сапоги, погоны, ордена.

Я гордилась своим отцом. Он был красивым человеком, форма ему шла, он носил ее уверенно, как и многие мужчины тех лет, считавшие, что это единственно достойная одежда. Мне казалось: вот сейчас мы войдем в кабинет директора, папа скажет какие-то веские слова, и директор не сможет ему отказать, меня примут даже без экзаменов.

Вошли... О директоре, Семене Михайловиче Ткаченко, среди абитуриентов и студентов ходили легенды — и грозный, и неприветливый. А тут из-за стола поднялся очень импозантный улыбающийся человек, скользнул взглядом по наградам отца, шаркнул ножкой и почтительно осведомился:

— Чем могу быть полезен?

Лишь много позже я поняла, что у такого института директор должен быть актером — он умел держаться по-разному.

— Объясните, пожалуйста, моей глупой дочери, что ей не следует поступать в ваш институт, — произнес отец.

У Семена Михайловича вытянулось лицо. Впервые к нему обращались с просьбой не принять дочь в институт, а, наоборот, отказать ей. А мои чувства вообще невозможно описать. Хрустальная мечта на глазах разлетелась вдребезги. У меня слезы брызнули градом. Я пулей вылетела из директорского кабинета...

Вечером я объявила отцу, что вообще нигде учиться не буду. Внешне спокойный, он ответил:

— Как хочешь. Мы поедем в Дрезден.

Отец умел быть непреклонным.

Ничего хорошего в моем упрямстве не было, это я поняла позже. А тогда я просто была обижена на весь белый свет.

Отец всю семью осенью увез в Дрезден, где служил в госпитале. Уже начался учебный год, и я ходила в десятый класс школы для детей военнослужащих.

Я, видевшая в госпиталях столько смертей, крови и боли, с трудом приучала себя не смотреть на немцев как на врагов. Один из

уроков всепрощения преподала мне мама. Квартиры нашего дома время от времени обходил пожилой немец в заштопанном костюмчике. Он собирал подаяние. И мама моя, у которой были расстреляны гитлеровцами мать и сестра, всегда ему что-нибудь давала — немного денег или еды. Немец ходил с портфелем, куда складывал все, что ему удалось собрать, чтобы никто не узнал, что он просит милостыню: это запрещалось.

Я многое забыла из своей дрезденской жизни, а этого немца помню — всегда чистенький, аккуратненький, словно весь заштопанный...

Отца из Дрездена перевели служить в Вильнюс. Он был совершенно безотказным человеком — ехал туда, куда его посылали, не хитрил, не выгадывал.

Мама, я и сестричка возвратились в Нежин, где у нас была квартира. Ведь по правилам тех лет квартиры военнослужащих или уезжавших за границу «бронировались». Они опечатывались и ожидали своих хозяев.

В Нежине я часто вспоминала аккуратного немецкого господина, которому подавали милостыню. На Украине в те годы был страшный голод. Я видела, как люди падали и умирали прямо на улицах. Когда я училась в училище, по дороге на занятия каждый день встречала опухшую от голода женщину. А однажды увидела, что она лежит на земле и по ней ползают вши. Умерла... В голодающей Украине подавали мало — нечего было подавать.

Мы тоже голодали, хлеб делили на крошечные дольки. Мама заболела, и ее госпитализировали. При первой же возможности отец забрал ее в Вильнюс. А я осталась в Нежине с сестренкой на руках.

Мама умоляла меня сберечь сестру. Я ей пообещала и свое слово сдержала. Я была вполне самостоятельной девушкой, мне можно было и сестричку доверить, и не опасаться, что наделаю глупостей. В войну выросли рано и быстро.

Между тем я решила, что не буду терять времени и начну готовиться к будущей профессии актрисы. Узнала, что в музыкальной школе есть балетный класс. Пришла к преподавательнице школы Екатерине Владимировне Медведевой и сказала, что хочу учиться балету.

– Вы опоздали, – ответила она.

– Я знаю. Но я собираюсь пойти учиться в театральный, и мне надо уметь двигаться.

Мне никто не подсказывал таких шагов, у меня не было тогда старших, опытных друзей. Просто я понимала, что навыки балета, осанка, походка, пластика и привлекательность движений необходимы актрисе, если она хочет добиться успеха.

Конечно, мое самолюбие страдало, когда рядом со мной маленькие девочки легко проделывали то, что давалось мне с большим трудом.

Тогда были какие-то сроки, до истечения которых я, вчерашняя фронтовичка-медсестра, имела право преимущественного приема в высшие учебные заведения. Чтобы не потерять эти льготы, я все-таки сдала документы в Нежинский педагогический институт, ненадолго отложив поступление в театральный. Я не оставила занятий балетом, продолжала посещать школу, а в пединституте стала руководить танцевальным кружком. Занималась я так усиленно, что за полтора года окончила пять классов балетной школы. И только когда стала «на пальцы», решила, что с меня достаточно. К этому времени я уже успела принять участие в спектакле Нежинского музыкально-драматического театра «Маруся Богуславка» – играла одалиску в гареме султана, самозабвенно исполняла танец, который был поставлен на музыку Рубинштейна из «Демона». «Восточный танец» удался, и мне аплодировали. Это был мой первый выход на сцену именно в спектакле, до этого я только исполняла танцевальные номера в концертах художественной самодеятельности.

Мама стала чувствовать себя получше и приехала к нам, дочерям. За мою младшую сестру Софию она была спокойна, но вот мой строптивый, излишне самостоятельный характер всегда вызывал у родителей тревогу.

Я очень хотела, чтобы мама увидела меня на сцене, усиленно ее зазывала. Мама пришла на спектакль, молча смотрела до конца. Свое мнение сказала мне уже дома:

– Как можно в таком виде выходить на сцену, чтобы пупок был голый? Это неприлично!

А для меня самым важным был сам факт, что я танцевала! Хотя, конечно, слова мамы очень меня огорчили, я надеялась, что она станет союзницей в борьбе за мою мечту быть актрисой.

Мама очень любила театр, она восхищалась замечательным Николаем Афанасьевичем Светловидовым, которого видела в «Орленке» Ростана. Светловидов в молодости блистал в героико-романтических ролях, а в зрелом возрасте потрясающе играл характерные роли. Через несколько лет я с ним встретила в Малом театре и рассказала о его скромной поклоннице из украинского Нежина.

Николай Афанасьевич однажды сделал мне невероятный подарок. Я срочно вводилась в спектакль по чеховской пьесе «Иванов» на роль Сарры: заболела актриса, нужно ее заменить, времени было очень мало, всего три репетиции. Между второй и третьей репетициями Светловидов сказал мне:

– Эличка, обратите внимание: Сарра любит стихи.

Я просмотрела всю роль и с недоумением подумала, что никакими стихами Сарра не говорит, откуда он это взял – неизвестно.

На третьей, последней репетиции я подошла к Светловидову и спросила:

– Николай Афанасьевич, я не нашла у Сарры стихов. Почему вы решили, что она их любит?

– А вы вдумайтесь вот в эти ее слова: «Цветы повторяются каждую весну, а радости – нет», – нараспев произнес он.

– Я помню... Где же здесь стихи?

– Ну, как она говорит... Вслушайтесь в ритм... Слышите? Вот она, поэзия:

Цветы повторяются  
Каждую весну,  
А радости – нет...

Вот высочайшее мастерство – увидеть за словами скрытый характер героини. И дорогого стоит получить такой совет от мастера. Я потом у многих своих героинь выискивала места, в которых должна была бы проявиться их поэтическая натура.

Роль Сарры, по общему мнению, у меня получилась, это была хорошая работа. Событием стали для меня гастроли Малого театра в Киеве. Именно тогда руководство разрешило мне выходить на поклонны. Напомню, что в спектакле Сарра умирает в третьем акте, четвертый акт идет уже без нее. И, сыграв свою роль, я уезжала вместе с друзьями по всяким, скажем так, памятным и привлекательным для меня в Киеве местам. Можно понять, как мне это было интересно: киевские гастроли шли через пятнадцать лет после окончания института, и я как бы возвратилась в свою юность. Пятнадцать лет я не была в Киеве, на то имелись свои причины, о которых я еще расскажу...

Выходить в финале на поклонны – это большая честь, свидетельство признания актрисы в труппе, среди коллег. Моя тетя была на спектакле и потом сказала мне:

– Элочка, что такое? Весь зал говорит: «Быстрицкая, Быстрицкая...» А тебя нет... Это же неприлично...

Я шутиливо пересказала этот разговор режиссеру. «Нет проблем, – сказали мне. – Выходи, кланяйся!»

Киевские зрители меня приняли. Я играла этот спектакль, пока он был в репертуаре театра. Моим партнером был Борис Андреевич Бабочкин! Феноменальный артист!

Но тогда, летом 1947 года, все это было от меня еще очень далеко: и работа в Малом, и знакомство с Николаем Афанасьевичем Светловидовым, и партнерство с Борисом Андреевичем Бабочкиным...

Вернусь в те времена, когда я, студентка провинциального педагогического института, изучала филологию и руководила студенческим танцевальным кружком. На олимпиаде в связи с завершением учебного года наш кружок получил первое место. Пожалуй, это было первое в моей жизни признание. Невелика награда, но я ею очень гордилась и мысленно говорила родителям: «Видите? У меня кое-что получается». Тем более что меня премировали путевкой на двенадцать дней в дом отдыха профсоюза работников искусств. Там отдыхали и начинающие, и уже известные актеры, даже целые ансамбли. И, конечно, устроили вечер самодеятельности – пели, тан-



цевали, играли. Не помню уже, что я делала на сцене, но, наверное, выступила с успехом, потому что ко мне подошла актриса Киевского театра имени Ивана Франко и спросила:

– Дочка, вы где учитесь?

Я ответила, что в Нежинском педагогическом институте. И она вдруг сказала:

– Жаль. Вам надо в театральный.

Это была Наталья Александровна Гебдовская. Она меня помнила, уже в глубокой старости, далеко за девяносто, иногда звонила мне. У нее всю жизнь сохранялся чудесный молодой голос. Помню, как она начинала разговор:

– Ну, як вы там, дорога моя?

Мы с нею всегда говорили на украинском языке, я хорошо его помню, он мне нравится своей певучестью.

А тогда Наталья Александровна сказала всего лишь несколько слов, но это были именно те слова, которых я интуитивно ждала. Мне требовалось заинтересованное участие опытного, умного человека, чтобы побудить меня к действию. Я говорила себе: «Вот, разглядела же во мне Наталья Александровна что-то такое, раз посоветовала мне стать актрисой!» Ее мнение было очень важно для меня, так как Наталья Александровна была актрисой известного во всей Украине театра. А я – всего лишь провинциальной девушкой, мечтавшей о сцене.

Ни тогда, ни позже я не отличалась робостью или неуверенностью, но мне всегда требуется собраться с душевными силами, чтобы совершить Поступок.

Из дома отдыха я возвратилась с четкими планами на ближайшее будущее. Папа в это время все еще служил в Вильнюсе, и я решила сохранить летнюю стипендию, чтобы отвезти сестру и все наши вещи в Вильнюс. А на те деньги, что останутся, поехать в Киев и попытаться поступить в Театральный институт имени Карпенко-Карого.

Неделя за неделей, день за днем – время поджимало: надо было сдавать документы, готовиться к экзаменам. Но вначале требовалось сказать родителям, что я не изменила своих планов – хочу стать

актрисой. И стану! Родители считали ведь, что я утомилась, как говорят на Украине – перебесилась. Снова были разговоры-уговоры, призывы одуматься.

– Ну хорошо, – говорила мама. – Ты не хочешь стать врачом, это можно понять. Но ты уже студентка педагогического института, профессия педагога очень уважаемая, что тебе еще надо?

Родители не узнавали свою послушную дочь. Я слушала их с большим почтением, но когда они исчерпали все доводы, заявила, что решение свое не изменю и очень прошу понять меня.

Мама была настолько против, что заперла всю мою одежду. Это меня не остановило.

– Все равно поеду, – заявила я твердо.

Мама спросила, тяжело вздохнув:

– А на что ты будешь жить?

– Заработаю, – с оптимизмом ответила я.

Сняла с веревки платье, которое постирала, и в нем уехала. Весь мой багаж состоял из небольшого чемоданчика.

Отец, провожая меня, купил буханку черного хлеба и две бутылки сидра. Он сказал:

– К сожалению, я больше ничего не могу тебе дать.

Небольшие деньги у меня были свои – остатки летней стипендии. Я чувствовала себя очень свободной и независимой. И тогда, и впоследствии часто вспоминала моих старших друзей по госпиталю, благодаря которым я научилась самостоятельно принимать решения и добиваться их осуществления.

Это были для меня поворотные дни. Еще можно было отступить, смириться. Но я понимала, что тогда моя мечта стать актрисой так и останется просто красивой мечтой.

В Киеве я остановилась у бабушки, мне не надо было платить за жилье. Я ни минутки не сомневалась, что поступлю в институт. Это была какая-то безоглядная вера в себя. А пока я не пропускала случая побывать на спектаклях замечательных украинских театров. Тогда играли выдающиеся мастера – Амвросий Бучма, Наталья Ужвий, «семейство» Юра – Гнат Петрович и его брат Терешко – и многие другие.

Театральный Киев всегда соперничал с театральной Москвой, и это приносило обоюдную пользу. Именно в то время в Киеве блистала плеяда актеров, которых зрители буквально боготворили. И Киевский институт театрального искусства пользовался огромной популярностью среди молодежи, его можно было сравнить лишь с московскими ГИТИСом или ВГИКом. Конкурс был очень высоким, отбор — тщательным. И это можно понять. Преподавали в институте признанные мастера украинского театра и кино, и никто из них не хотел потратить четыре года своей жизни (в институте было четырехгодичное обучение) на натаскивание бездарностей.

В институте я подавала документы на отделение кино, студентов туда набирал Амвросий Максимилианович Бучма. Он уже тогда был легендой украинского и советского кино и театра. Достаточно сказать, что на сцене он был с 1905 года, играл в первых советских кинофильмах. Я не буду перечислять все сыгранные им роли — их было много. Напомню лишь, что это он сыграл Тараса в «Непокоренных», Алексея Басманова в «Иване Грозном», Лещука в «Подвиге разведчика». Это был человек, словно сотканный из таланта. Он покорила вершины мастерства. Учиться у такого мастера было пределом моих мечтаний.

Но... мне отказали. Я не знаю причины, но думаю, что было слишком уж много желающих. Тогда я попросилась на русское театральное отделение, однако меня определили на украинское. Думаю, это произошло потому, что среди абитуриентов было немного таких, кто чисто и свободно говорил по-украински, а я владела им так же, как и русским.

Я написала маме, что не сомневаюсь: пройду все отборочные конкурсы и поступлю. Но это была бравада, лукавство: я панически боялась провалиться — душа уходила в пятки, и я дрожала перед каждым экзаменом. Страшно было даже подумать: вдруг придется возвратиться к родителям ни с чем? Они, конечно, не будут упрекать, только, боже мой, зачем мне такой позор?

Но я умела держать себя в руках. Уже тогда твердо знала: никто не должен видеть тебя растрепанной или беспомощной, уверенность в себе — шагок к успеху.

К счастью, перед сдачей документов и экзаменами у меня не случилось очередного бурного объяснения с родителями. Мама смирилась, а отец... Он хотел мне добра, стремился, чтобы у меня в руках была надежная, уважаемая в его окружении и вообще среди серьезных людей профессия. А уж коль так не получилось, каждый из нас остался при своем мнении.

Директор института, естественно, не забыл о необычной просьбе моего папы – такое не забывается. Но он оказался достаточно мудрым человеком, чтобы не вспоминать об этом. Приемная комиссия ориентировалась на результаты вступительных экзаменов, мою куцую творческую биографию и прочие объективные данные.

Общеобразовательные экзамены я не сдавала: у меня был диплом с отличием, и я уже училась в Нежинском пединституте. Зато на экзаменах по специальности меня «пытали» довольно строго. Я читала басню, прозу, стихи, пела, танцевала – такое вот тестирование на «профпригодность». Видит Бог, как я старалась! После нескольких дней тревожного ожидания я нашла свою фамилию в списке принятых. Трудно передать мою радость – я была просто счастлива. Планов у меня было множество, я видела себя уже актрисой. словно огромная тяжесть свалилась с плеч – жизнь прекрасна!

И вот буквально за несколько дней до начала занятий вдруг узнаю, что мандатная комиссия... меня отчислила! Оказалось, я не представила справку о том, что вошла в пять процентов выпускников медучилища, которым разрешается продолжать учебу в других учебных заведениях. Было тогда такое правило. Кстати, цифра «пять» для меня почему-то роковая, она меня преследует всю жизнь. Но у меня справки и не могло быть на руках, поскольку я ее сдала при поступлении в Нежинский пединститут. Что же делать? Я в ужасе: столько пережить, столько перетерпеть, быть принятой и вдруг отчисленной? Растерялась, и на лице, видимо, у меня было написано все, что человек чувствует в такие минуты.

Мимо проходил Яков Иванович Токаренко, преподаватель истории, доброжелательный и очень колоритный человек.

– Чого ж вы так стоите? – сочувственно спросил он.

Я ему все выложила.

## ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ

– Езжайте в Нежин, – посоветовал он, – пойдите в пединститут и возьмите свою справку.

И я поехала. Но в институте мне справку не выдали – не положено.

Был там замечательный педагог и писатель, который случайно меня встретил и участливо расспросил, что со мною приключилось.

– Ну что вы расстраиваетесь? Зачем вам объяснять в кадрах, для чего понадобилась эта справка? Просто скажите: для снятия копии.

– Но в театральном институте нужен оригинал, – засомневалась я.

– Ну и поезжайте с оригиналом, – спокойно сказал он.

Это было для меня, наивной, таким потрясением! Но именно так я и поступила. Справку я предъявила в приемную комиссию института, оттуда ее передали в мандатную комиссию, и меня восстановили. Для этого мне пришлось походить по начальственным кабинетам, доказывать, ждать. Ничто в жизни не проходит бесследно, война научила меня терпению и стойкости.

В популярной песне поется: «Мне часто снятся те ребята...» Мне всю жизнь будут сниться мои раненые, мои передвижные, на колесах, госпитали, окровавленные бинты, кровь на белых халатах. И поступление в театральный институт стало как бы рубежом: прошлое уходило, начиналось будущее. Закончился важный период моей жизни, в котором объединились военные годы, время взросления, пришедшееся на послевоенную разруху, поиск себя. Судьба не скупилась на испытания. Может, это было и неплохо? Ведь тем, что получаешь легко, беззаботно, из чужих рук, не особенно дорожишь. Много позже я думала: а как сложилась бы моя жизнь, если бы во время памятного посещения директора института отец, в полном офицерском блеске, при погонах и орденах, сказал:

– Вы должны принять мою дочь в институт! Я – фронтовик, и она фронтовичка...

К счастью для меня, он сказал прямо противоположное. И я ему, его памяти за это низко кланяюсь, ибо он поступил мудро, отдав мою судьбу в мои собственные руки.

# Легкомысленные опыты самостоятельной жизни

Я– студентка! Будущая актриса! В это я долго не могла поверить. Мне все казалось прекрасным сном, и я опасалась, что однажды утром проснусь, а сон ушел, рассеялся.

Прошли первые праздничные дни, педагоги выступили со своими напутствиями, и потекли будни.

Требовалось научиться жить полностью самостоятельно. Меня больше никто не опекал, над душой никто не стоял. Живи как сумеешь! «На жизнь я себе заработаю», – легкомысленно заверила я маму. Легко сказать, но трудно сделать! Родители не отказывались помогать мне, но возможности для этого у них были ограниченными. Приходилось рассчитывать на собственные силы.

Я легко познакомилась с другими студентками. Одна из моих новых подруг сообщила мне:

– Сейчас снимают «Тараса Шевченко». Давай попытаемся попасть в массовки.

На массовках можно было заработать – я ведь твердо решила быть самостоятельной. Вспоминая то время, я думаю об оптимизме, с которым смотрела на свое дальнейшее будущее. Впрочем, я даже не особенно задумывалась, на какие средства буду жить. У меня была цель и уверенность, что не пропаду.

Если ты не встретился с трудностями в профессии актера, если ты их не пережил, если в твоей жизни не случилось ничего такого, что заставляет сильнее биться сердце, испытывает тебя и физически, и нравственно на прочность, – ничего потом из тебя не получится. Нужно все испытать, узнать, попробовать, понять. Одной лишь фантазии, даже самых благих порывов, не подкрепленных делом, не хватит для серьезных выводов, для того чтобы наполнить жизнь нужным содержанием. Но все это я поняла гораздо позже, когда появился житейский и сценический опыт. А тогда было лишь

оптимистичное: «Не пропаду!» И слабенькая надежда, что немного заработаю участием в массовках.

Съемки массовых сцен будущего фильма «Тарас Шевченко» шли на Аскольдовой могиле. Напомню читателям, что Аскольд — это древнерусский князь, который вместе с Диром правил Киевом и был убит князем Олегом. Аскольда похоронили на крутом берегу Днепра, и его могила стала своеобразным местом паломничества для многих поколений украинских творцов. Бывал здесь и Тарас Шевченко.

Подружки сказали мне, что надо с утра пораньше пойти к Аскольдовой могиле. Меня предупредили — желающих много. Я не пришла — прибежала. И увидела огромное количество людей — и совсем юных, как я, и уже «закаленных» в киномассовках. Каким-то чудом я пробилась сквозь беглый отбор.

Самое любопытное, что в этой творческой сутолоке я почувствовала себя хорошо, ибо надо было танцевать гопак или казачок, а для меня это было легко и просто, я ведь в балетной школе училась. Мне выдали украинский национальный костюм, я встала в круг девушек, которые были очень близко к съемочной камере, и с волнением подумала: «Боже мой, какое счастье, папа с мамой увидят меня и поймут, что я уже актриса». Я все еще пребывала в том возрасте, когда самым важным было, что скажут папа с мамой.

Тогда для меня все было ясно, все решения — просты. Не то чтобы я ни над чем не задумывалась, всего сильнее были желания, и именно они давали силу для достижения того, к чему стремишься. А вот сомневаться, колебаться — вдруг не получится?! — мне это уже и тогда было не свойственно. Я ставила перед собой цель и шла к ней, добивалась ее осуществления своим трудом, работой, на пределе тех возможностей, которые дала мне судьба. И это единственно правильный путь в жизни, я сохранила это качество характера.

Я с упоением танцевала быстрый, веселый гопак, мне казалось, что я это делаю лучше других девушек. Но вдруг раздался раздраженный голос режиссера:

— Уберите отсюда эти черные сапоги!

«Черными сапогами» оказалась я. На всех остальных девушках были красные сапожки, а мне, единственной, достались черные.

Помню, я подумала: «Я же не хуже других, я танцую на их уровне! Но почему же мне не поменяли сапоги?» Наверное, это была нелепая случайность, но все надежды, что меня увидят в фильме папа с мамой, тут же рассыпались в прах из-за нелепой случайности.

Впервые я подумала, что дело, которому собираюсь посвятить всю свою жизнь, не всегда зависит от меня, что бывает множество случайностей, которые невозможно предвидеть. Но это не поколебало моей уверенности в успехе. И надо сказать, я все-таки снялась в другой массовой сцене этого фильма.

Я упорно искала любые возможности для того, чтобы попробовать свои силы и одновременно заработать. Конечно, я понимала, что у меня нет имени, меня мало знают, а по правде говоря, совсем не знают, и потому не приходится капризничать, выбирать. В это время в Киев приехал на гастроли знаменитый цирковой артист, «король манежа», как его тогда называли, Кио со своей группой. Одна из студенток, потом она стала известной и любимой актрисой, сказала мне:

— Пойдем, они всегда набирают балет.

И мы с нею пошли. Но нам сказали, что в этот раз балет не нужен. Огорченные, мы уже повернулись уходить. Но, очевидно, мы все-таки приглянулись, понравились. Нас остановили:

— Кио нуждается в двух ассистентках.

Меня спросили:

— Вы воздуха боитесь?

— Нет, что вы! Конечно, нет, — ответила я.

В самом деле, кто же боится свежего воздуха?

Но я представления не имела, что такое у цирковых артистов «воздух». И поняла это только на выступлении. Все репетиции были за кулисами, в служебной части цирка. Я должна была заменить лилипутку, которая выезжала на арену в китайском фонаре. Точнее, гвоздем этого аттракциона был выезд трех лилипуток в этих фонарях: нарядные лошади, разукрашенные фонари, маленькие, невесомые актрисы в нарядных, блестящих одеждах... Китайский фонарь — это ажурное сооружение из прутьев со шторками, со специальной системой зеркал, линз, красивой подсветкой. С небольшой площадки фонарь поднимается под купол цирка. Я не буду раскрывать секреты



## ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ

этого аттракциона, он и сейчас используется в репертуаре. Просто хочу объяснить, что испытала, когда вдруг фонарь медленно поплыл под купол, его шторы раздвинулись и я оказалась высоко над ареной. Увидела внизу маленьких людей, странно уменьшившуюся в размерах арену. Фонарь слегка качался... Вот тут я и поняла, что циркачи именуют «воздухом». Повисев под куполом, фонарь медленно опускался, Кио хлопал в ладоши, а я должна была, как от меня требовали, «легко спрыгнуть и грациозно убежать с арены». Между прочим, спрыгнуть с высоты в полтора метра, в туфельках на тоненьких каблукках!

Теперь уже можно признаться: я безумно боюсь высоты. И когда раздвинулись шторы, я панически испугалась. Схватиться было не за что — прутья у фонаря тоненькие, хлипкие. Спрыгнула я довольно удачно и, как мне казалось, элегантно раскланялась со зрителями.

Я была в жутком страхе, за кулисами у меня долго дрожали руки. Гордость не позволила попросить стакан воды. Требовалось спрятать эмоции, не показать страха, ибо мне нужно было удержаться у Кио. По сравнению с участием в массовках на киносъёмках у него платили в шесть раз больше. А я лишь начинала свою студенческую жизнь, мне нужны были деньги на питание, хотелось приодеться, правильно же говорят: «Встречают по одежке...»

Актриса, даже начинающая, не должна позволять себе небрежно одеваться, ведь те, кто может дать ей работу, часто судят о ней по первому впечатлению. Но тогда я просто не могла позволить себе одеваться модно. У меня были две-три блузки, сарафан и много бантиков.

Это время я назвала впоследствии временем надежд — главным было удержаться, пробиться, не затеряться в толчее сотен и тысяч красивых, раскованных, уверенных в себе девушек, толпящихся у входа в мир искусства.

Я понимала, что если поработаю у Кио месяц, то смогу год спокойно заниматься в институте, у меня появится возможность жить безбедно, и я докажу родителям, что поступила правильно, хотя и пошла против их воли. И я очень старалась...

Молодость бывает безгранично самоуверенной, и это очень хорошо. У Кио я работала до тех пор, пока не закончились его гастроли в Киеве.

# Студентка, комсомолка, отличница

Я несколько изменила шутивную реплику из известной кинокомедии, но мои дела обстояли именно так: я была студенткой, комсомолкой стала еще на фронте, где комсорг эвакуогоспиталя вручил мне комсомольский билет, а все экзамены я сдавала на «пятерки».

Вначале учеба давалась мне с трудом. Я ведь очень многое в связи с войной пропустила, систематических знаний за среднюю школу у меня не было, а медицинское училище обучало фельдшерско-акушерским навыкам, азам медицинской профессии. Мне многое дал Нежинский педагогический институт, но ведь я там проучилась всего год.

И я держалась на самолюбии, свои «пятерки» зарабатывала трудом. Уходила в институт рано утром, приходила домой поздним вечером.

Бабушка с недоумением говорила:

– Что это за институт, в котором девочка занимается с раннего утра и до ночи? Что ты делаешь там по вечерам?

А я днем училась, слушала лекции, а по вечерам репетировала. Расписание составлялось с учетом того, когда свободны аудитории и студии.

Вначале институт находился на старой киевской улице – Мало-Васильковской. И мы, студенты, лихо распевали свой гимн:

Пусть говорят, что лучше всех московский,  
Пусть ленинградский лучшим назовут.  
Мы любим наш на Мало-Васильковской  
Родной и близкий театральный институт...

Вскоре его перевели в более престижное место – на Крещатик. И вторая часть куплета стала звучать так:

Мы любим наш – напротив Бессарабки –  
Родной и близкий театральный институт.

Те, кто нас слушал, улыбались. Дело в том, что Бессарабка – это известный всему Киеву рынок, примыкающий к Крещатику. С ним у киевских старожилов связано множество анекдотов и забавных историй, там можно было встретить весьма колоритные фигуры.

Педагогами моими были Иван Иванович Чабаненко и Леонид Артемович Олейник. Именно они учили актерскому мастерству. Сценическую речь преподавала Полина Моисеевна Нятко, замечательная актриса с дивным голосом, великолепная чтица. Она помогла мне избавиться от моего южнорусского говора.

Большинство своих педагогов я уже не очень хорошо помню – прошло столько времени, а дневников я не вела. Но там, в институте, были очень хорошие люди. И воспоминания о студенческих годах у меня остались совершенно изумительные. Я очень многое познала и многому научилась. Налет провинциальности постепенно исчезал.

Училась я с наслаждением. Обожала занятия по актерскому мастерству, по сценической речи, по движению. По пластике я была впереди других студентов. И даже вокал мне нравился. У меня было колоратурное сопрано, но меня раздражал обязательный репертуар. «Зачем? – думала я. – Зачем я пою романс Антонида, алябьевского “Соловья”, если мне предстоит стать драматической актрисой и в лучшем случае исполнять простенькие романсы?» Когда я начала сниматься в кино, стала убирать «верхи» своего голоса.

Четыре года – это большой срок. Отношения с родителями продолжали оставаться натянутыми, что беспокоило. Меня не устраивала растянувшаяся во времени «роль строптивой дочери». Я люблю, когда в семье царит взаимопонимание.

После первого курса родители разрешили мне на каникулах навестить их в Вильнюсе. Я с радостью отправилась к ним. Тогда я проходила пробы в моем первом фильме. Меня должны были вызвать на студию. И вот однажды утром мама вышла на звонок в дверь и тут же

позвала папу. Я вслед за ними выскочила на лестничную площадку. И вижу: стоят папа с мамой на ступеньках и не могут разобраться, что за телеграмма мне пришла. А в телеграмме было примерно следующее: вы утверждены на роль Лены в фильме «В мирные дни», приехать тогда-то и туда-то... Родители не знали о пробах: я, может быть, из суеверия скрывала от них, что меня «смотрят» на одну из главных ролей в новом фильме.

Я перегнулаась через перила, взяла телеграмму и со смешным достоинством сказала:

— Это мне! Я знаю, в чем дело.

Уже в квартире объяснила, что буду сниматься в новом фильме студии Довженко. Фильм «В мирные дни» — о подводной лодке, героизме наших моряков. Его снимал режиссер Владимир Браун. Напомню, что тогда практиковались конкурсы на роль, то есть предполагалось вполне честное соперничество: покажи себя, и, возможно, специальная творческая комиссия выберет тебя. Врачом Леной, возлюбленной капитана подлодки, хотели стать несколько вполне профессиональных актрис. Я же была новенькой, нигде и ничем не заявившей о себе.

Моя актерская карточка после съемок в массовках оставалась на киностудии. Кроме массовок у меня была в «Тарасе Шевченко» крошечная роль горничной графини Толстой. Графиню играла Марина Алексеевна Ладынина. Потом эпизоды с графиней сильно сократили, и, естественно, эта участь постигла и ее горничную. Но в массовых сценах я мелькала. Думаю, что кто-то мне симпатизировал или проникся сочувствием к дебютантке в кино. И когда собирали актеров для фильма «В мирные дни», меня пригласили на студию. Спросили, на каком я курсе.

— На втором, — гордо ответила я.

Действительно, я уже окончила первый и благополучно перешла на второй курс. Студия стала наводить справки. Второй курс вел Гнат Петрович Юра. Меня в списках студентов второго курса не оказалось — приказ о переходе еще не был подготовлен. Подумали, что я обманула, возникла неловкая ситуация. В общем, это неважно, в конце концов все выяснилось, и я снялась в пробах. Потом пришла телеграмма в Вильнюс...

Я поехала на студию. Был подготовительный период – подбор костюмов, грима, знакомство с другими участниками съемок. Да, я забыла сказать, что для того, чтобы получить эту первую в моей жизни роль в фильме, я не пользовалась никакими связями – у меня их не было. Просто я искала, к чему бы приложить силы. Узнала о фильме, о том, что «смотрят» для него студентов института, и предложила свою кандидатуру. На меня «посмотрели» и предложили пробы. И в будущем я не раз убеждалась, что уповать на связи и помощь друзей можно, но не нужно на это сильно рассчитывать, лучше надеяться на собственные силы и проявлять инициативу.

Дорога в Киев оказалась неожиданно тяжелой. В Гомеле – пересадка, надо было ждать киевского поезда двадцать шесть часов (из Вильнюса прямого железнодорожного сообщения с Киевом не было). Путешествие получалось длинным. Папа устроил меня в офицерский вагон. Как сейчас помню, в те годы для военнослужащих предназначался седьмой вагон. Папа посоветовал в Гомеле пойти в комнаты для проезжающих (были и такие), заплатить за ночлег и дожидаться поезда.

Я оказалась в одной комнате с женщиной, которая ехала во Львов и тоже дожидалась своего поезда. Она была из Коми. Мы разговорились. Я узнала, что у нее остались пятеро детей в поселке, где она живет.

– А кто же с ними?

– Как кто? Собаки...

Оказывается, там, у нее на родине, собаки натасканы, выдрессированы на охрану и даже... на воспитание детей! Они не позволят детям сделать ничего такого, что не положено. Собаки охраняли детей, а соседки их кормили.

Рассказ этой женщины стал для меня потрясением. Вот из таких встреч, из изумления от увиденного и услышанного и складывалось в то время мое представление о жизни.

В Киев я доехала благополучно, и буквально на следующий день начались съемки. Мне очень хотелось, чтобы роль у меня получилась, и я честно работала. Но роль была невыигрышной, без динамики, только пребывание в кадре. Я очень старалась, слу-

шала все, что мне говорил режиссер, опытный «маринист» Владимир Браун. Вторым режиссером фильма был Евгений Брюнчугин, оператором — знаменитый Демущкий, мастерство которого высоко ценилось, — один из классиков операторского искусства. В фильме были заняты профессиональные актеры — я впервые попала в такую среду.

Снималась картина «В мирные дни» на Черном море, в основном в порту Потти. Съемки заняли все лето. В профессиональном плане я сильно продвинулась. Моими партнерами были Г.А. Юматов, В.В. Тихонов, Н.С. Егорова — они тогда только начинали, но уже были настоящими актерами. А Сергей Гурзо после фильма «Смелые люди» стал просто всенародно известным, не было такого города или городка, где бы его не знали. Я много почерпнула из общения с ними, гордилась совместной работой. Правда, у них были роли, а у меня только присутствие.

Возвратилась на занятия в институт с опытом и массой впечатлений. На моем втором курсе только-только справились с исполнением отрывков из художественной прозы. Я же считала себя уже опытной актрисой.

Мне после съемок в фильме предстояло сыграть роль Пановой в спектакле «Любовь Яровая», который готовился в институте. Панова курила, и по вечерам, после съемок, когда все уходило погулять в красивом городке, я оставалась в номере, брала пачечку «дукаатинок» и давилась горьким дымком. Так я научилась курить. Это безобразие длилось довольно долго, лишь через много лет я все-таки сумела бросить. А после возвращения в Киев со съемок на курсе все смотрели с любопытством, как я «дымлю». В то время ведь очень немногие девушки курили, в основном врачи и медсестры-фронтвички. Тогда я, кстати, поняла, что не все смотрят на них с восхищением, совсем наоборот, многие «штатские», не воевавшие, с осуждением: мол, прошли девушки огонь, воду и еще кое-что.

Война все дальше уходила в прошлое, и вместе с нею — героика и романтика тех лет. С удивлением я обнаружила, что многие хотели бы забыть войну, хотя все напоминало о ней. Вчерашние солдаты и офицеры все еще носили военную форму, но без погон, — другой

одежды у них просто не было, жили все скудно. На улицах встречалось много инвалидов, людей, искалеченных войной. И на них смотрели уже с привычной жалостью.

Много позже я поняла, что люди стремились забыть не войну, а кровь, горе, невозвратимые потери.

Студенты ходили разбирать руины Крещатика, и я вместе со всеми участвовала в этих субботниках-воскресниках. Почему-то думалось, что заново отстроенный Крещатик подведет черту под военными годами.

В институте среди студентов мое участие в съемках фильма не вызвало особого оживления. Все мы пытались что-то делать, где-то играть или сниматься. Однокурсники считали, что мне повезло – только и всего. Меня расспрашивали, как это мне удалось, я говорила правду, мне не верили.

А для меня было важно то, что я не разочаровалась в профессии. И этими съемками, и многим другим я все время доказывала себе и окружающим, что все сделала правильно.

Правда, уверенность в себе у меня была внешняя, напускная. Уверенности никогда нет у актера. Каждая новая роль – это миллион сомнений и терзаний. Но окрепло желание овладеть профессией, получить право работать в этой области. Театр и кино по-прежнему оставались для меня «загадочным континентом», о котором мне ничего не было известно, – ведь я жила в совершенно ином кругу. И более тесное знакомство с моей будущей профессией предполагало еще множество больших и маленьких открытий.

Каждый вечер, если у меня не было репетиций, я ходила в какой-нибудь театр. Другие студентки бежали на свидания, я – в театр.

Я не пропускала ничего более или менее значимого в театральной жизни. Восхищалась Михаилом Романовым в «Живом труппе», Амвросием Бучмой в «Макаре Дубраве», Полиной Няtko в роли Дуньки в «Любови Яровой». Сами того не ведая, эти выдающиеся актеры преподавали мне неоценимые уроки мастерства. Я не стремилась им подражать – это невозможно, я просто была прилежной ученицей.

У меня были и сугубо практические цели: в Театр русской драмы имени Леси Украинки я ходила, чтобы овладеть чистым русским языком, в Театре имени Ивана Франко я училась хорошему украинскому языку. В Киевском оперном театре смотрела все балеты и слушала некоторые оперы (на те, что мне активно не нравились, я не тратила времени). Иными словами, занималась самообразованием, ибо прекрасно понимала, сколько всего еще мне не хватает, сколько предстоит освоить. Столичные девочки многое получили уже в юные годы, ибо росли в благоприятной для развития среде. А от Киева до Нежина — рукой подать, но Нежин был уже провинцией.

И вообще огромное, странное пространство пролегало между мною, студенткой, и «сестричкой» из фронтовых госпиталей. Но я никому не завидовала — просто стремилась наверстать то, что было упущено не по моей вине. Помню слова из популярной в те годы песни: «Ах, война, война, война, что же ты наделала...» Война оставила в живых отца, маму, меня, сестренку, и уже за это я была благодарна судьбе. А остальное, считала, я нагоню и свои шансы не упущу — такая верящая в себя и одновременно сомневающаяся в себе девушка...

Признаюсь: я не умела кокетничать и никогда не использовала свои, по общему мнению, незаурядные внешние данные для достижения амбициозных целей. Чтобы была понятна моя мысль, скажу: обо мне не говорили «красотка», а вот «красивая девушка» — часто. На курсе и в институте отношение ко мне было спокойное, ровное. Уже потом студенты мне признавались, что, хотя я и числилась среди первых красавиц, они не решались в отношении меня переходить допустимые границы. Меня это вполне устраивало, так как я считала, что и большая любовь, и высокие личные эмоции — это все впереди...

Через полгода учебы я ушла от бабушки. Мне было страшно неудобно приходиться каждый вечер поздно, беспокоить пожилую женщину, к тому же не очень здоровую. Сняла, как тогда говорили, угол — жила в одной комнате вместе со студенткой, кажется Института физкультуры. «Углы» мы искали не вместе, просто нас свел случай: ей требовалось где-то жить, мне — тоже. Моих средств на то, чтобы самостоятельно снять комнату, не хватало.



«Угол» я нашла в коммунальной квартире в доме по улице Красноармейской, там, где она примыкает к площади Льва Толстого. Сейчас она называется улицей Льва Толстого, а площади, я думаю, вернули старое название — Караваевская. Это был почти центр города и от моего института поблизости.

В коммунальной квартире жили две семьи — наши «хозяева» и еще одна пара, у которой был сын Яков, студент медицинского института, очень музыкальный парень. Мы остались с ним друзьями, хотя разбросало нас в разные города и даже страны и профессии и судьбы у нас разные. После окончания института мы на какое-то время потеряли друг друга из вида, тем более что я долго не была в Киеве. Когда же приехала на гастроли с Малым театром, при первой же возможности побежала повидаться с Яковым. Он уже женился, у него родился сын. К сожалению, мерзость той странной жизни, которой мы жили тогда, не обошла эту семью стороной. У мальчика было косоглазие, его требовалось лечить: благодаря помощи друзей и дальних родственников его приняли в хорошую клинику в США. Мальчик уехал. И Яков, который блестяще окончил медицинский институт, стал ученым, работал в известной лаборатории, потерял сразу все — работу, друзей, которые начали его сторониться, перспективы. Яков и его жена страдали, он работал дворником, разносил почту, словом, ему надо было хоть что-то делать, иначе бы его судили и выселили из Киева как бездельника и тунеядца...

Я не могла понять, почему преследуют людей, у которых и так огромное горе — болезнь сына. Разве они враги? Просто несчастные люди... Я и сегодня не понимаю, кому и зачем это было нужно. Слава богу, времена меняются.

С огромными трудностями и сложностями через несколько лет Якову и его жене удалось выехать в США. Мы иногда перезванивались. И первое, что я сделала после страшного террористического акта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, — позвонила Якову, чтобы узнать, не зацепила ли их беда. Обошлось, они остались живы и здоровы. Но сегодня их обоих уже нет на свете, а память осталась самая теплая.

У меня не было той шумной студенческой жизни, как ее традиционно представляют. Редко случались веселые вечеринки, я сто-

ронились шумных компаний. На них не хватало ни времени, ни денег. Учиться в театральном институте и остаться живым и здоровым очень непросто. Труд это тяжелейший. Только когда я освоилась, добралась до старших курсов, появились какие-то ребята, «кавалеры», пошли разговоры о замужестве. А раньше, извините, никого, нигде и никак...

С учебой проблем не возникало, просто иногда случались маленькие недоразумения. Допустим, мне надо было сдать зачет по плаванию... А у моей мамы в детстве утонул брат, мама боялась отпускать меня на воду, и я не научилась плавать. Зачет мне поставили условно, я клятвенно пообещала, что за лето научусь плавать, постараюсь преодолеть боязнь воды. И научилась – во время съемок фильма «В мирные дни» на море. И сдала зачет после возвращения в Киев. Когда я приезжала на каникулы к папе с мамой в Вильнюс, я с гордостью переплывала студеный Нерис.

Закончились каникулы, и я возвратилась в Киев.

Мои дела в институте, повторяю, обстояли вполне благополучно. Я очень любила все специальные предметы, связанные с будущей профессией, к общеобразовательным относилась спокойно: раз надо – значит надо. Считала, что актриса должна делать не только то, что любит, но и то, от чего не отвертеться.

В 1952 году на зимние каникулы нас, группу студентов-отличников, премировали поездкой в Москву. По тем временам это была большая честь, и другие студенты нам завидовали. А я была просто счастлива.

Именно тогда я впервые побывала в Большом театре, впервые – во МХАТе и впервые смотрела спектакли Малого театра на его родной сцене, в его священных стенах.

Конечно, встала в очередь в Мавзолей В.И. Ленина и... отморозила себе ноги. Я не подготовилась к московской зиме и была наказана за это. Но не пойти в Мавзолей не могла – так мы были воспитаны.

Жили мы в общежитии ГИТИСа, и все время я буквально носилась по Москве. Раззолоченный Большой театр... Красная площадь, Кремль... Я видела все это в кино, но вот так, «живьем»...

Мне и в голову не приходила мысль сравнивать Москву с Киевом. Это были разные планеты. Киев — родной, уютный, в нем все знакомо, известно. А Москва поражала величием, державностью. Потом я изредка бывала в Киеве и не узнавала его. Он стал совершенно иным и словно отдалился от меня. А Москва с каждым прожитым в ней годом становится все ближе и ближе. Но тогда, зимой 1952 года, я и представить не могла, что буду жить в Москве и работать в Малом театре. Это была неосуществимая мечта, хотя я и внушала себе, что все в моих руках. Мои интересы сосредоточивались на учебе, я не позволяла себе ничего, что могло помешать мне, избегала мимолетных романов, зряшных знакомств. О замужестве даже не помышляла, хотя такие предложения были — парни не обходили вниманием красивую девушку, а студенческая жизнь, конечно же, предполагала и любовь, и свадьбы.

В нашем институте училось много красивых девушек, иные выходили замуж, особенно на последних курсах, когда требовалось устраивать свою судьбу, и в разговорах замелькали слова «распределение», «назначение», «киевская прописка». Однажды «дрогнула» и я: сблизилась с одним молодым актером, которому очень нравилась. Парень настойчиво предлагал мне расписаться, сокурсницы именовали его моим женихом. Он очень серьезно смотрел на наши отношения, о намерении жениться на мне сообщил своим родителям. Его мама даже поехала в Вильнюс, чтобы познакомиться с семьей будущей невестки. Тогда к таким вещам относились очень серьезно. Мои родители ей понравились. Я искренне считала, что влюблена в этого симпатичного парня. И дала согласие к концу учебы выйти за него замуж. Конечно, все это было страшным «секретом» для подруг и знакомых.

Но, видно, наши отношения были не очень крепкими, если рухнули почти мгновенно. Он уезжал на гастроли. Я собралась его провожать. И очень тогда торопилась. Сдала экзамен, забежала на рынок на Бессарабке, купила огромный букет распустившихся пышных пионов, помчалась на вокзал, чтобы успеть к отходу поезда. Поезд вот-вот должен был уйти. У входа в вагон рядом с моим женихом стояла девушка и прикалывала к лацкану его пиджака

изящный букетик ландышей. И я вдруг представила себе, как нелепо буду выглядеть рядом с ним со своим огромным букетом красных пионов! То, что я увидела, было изысканным, тонким, прелестным. А то, что делала я, — излишним, грубым. Такого унижения я снести не могла! В этом что-то было, какой-то знак, сигнал, подсказка судьбы. Переживания ужасные, но сегодня я уже могу говорить об этом спокойно...

Те, кто знал эту историю, а таких было немного, говорили мне, что я была излишне суровой девушкой. Но я была суровой по отношению к себе! Объясню: я никогда не считала, что моя внешность позволяет мне делать то, что не разрешает мне моя нравственность...

И вот наступил 1953 год — год смерти Сталина. Начался он для меня неожиданно бурно. Я была уже на последнем курсе, уверенно шла к выпускным экзаменам, к диплому и, надеялась, — к интересной работе.

21 января был траурный вечер, посвященный годовщине смерти В.И. Ленина. В таких случаях полагался строгий, под печальное настроение, концерт. Естественно, участие в нем, по традициям того времени, было большой честью для каждой студентки. Я стояла перед дверью аудитории — должна была прочитать преподавательнице Полине Моисеевне Нятко «Поэму о Ленине» известной украинской поэтессы Натальи Забилы, чтобы услышать ее замечания и рекомендации. Ни она, мой любимый педагог, ни я, ее ученица, не хотели провала, конфуза на сцене — по тем временам это грозило бы большими неприятностями. Я повторяла про себя текст поэмы, настраивалась на минорно-торжественный лад. Помню, у меня на руке было пальто, сшитое из папиных отрезков на брюки, — материал для формы выдавали офицерам каждый год (родители все-таки помогали мне одеваться). В другой руке у меня был портфель. Вот так я и стояла, прикрыв глаза, сосредоточившись на предстоящей декламации.

Очнулась я от жуткой боли. Студент второго курса какой-то свистулькой дунул мне прямо в ухо. Еще в детстве у меня была болезнь ушей, ее кое-как вылечили, но они так и остались очень чувствительными к любым громким звукам. От свиста меня буквально

но пронзила острая боль. Я абсолютно автоматически перебросила пальто на левую руку и дала этому хулигану жуткую затрещину — от всего сердца, как говорится. Он отлетел, но не успел мне дать сдачи — открылась дверь в аудиторию, вышел другой студент, а я нырнула внутрь — читать. Прочитала без замечаний, вышла минут через тридцать — студенты уже живо обсуждали происшедшее: «Быстрицкая дала пощечину Медведеву». Вот почему помню его фамилию — из-за волны разговоров, которая прокатилась по институту.

Вечером мне мой педагог сказал:

— Подавайте заявление о вашем переводе в Харьков, потому что завтра будет приказ о вашем отчислении.

Сегодня это кажется невероятным, но тогда было именно так. В стране нарастала кампания борьбы с сионизмом, некоторые наши отнюдь не бездарные студентки уже испытали ее удары на себе. Быстрицкая подняла руку на Медведева! Этого было достаточно, чтобы вынести приговор, даже не выслушав меня!

Не задумываясь ни на секунду, я сказала педагогу:

— Если завтра будет приказ об отчислении, послезавтра ищите меня в Днепре.

Я прочитала поэму во славу Владимира Ильича, ушла домой и ночь провела в тяжелых раздумьях. На следующий день заместитель директора института, чудесный человек, сказал мне:

— Мы ничего решать не будем, пусть с вами решает комсомолия. А мы вас отчислять не станем...

Господи, были же и тогда разумные, добрые люди, для которых важна была суть конфликта, а не национальность студентки, отве-сившей оплеуху хулигану!

Я уехала на каникулы к папе с мамой. Это были короткие зимние каникулы — после первого семестра. Возвратилась 6 февраля. Все было тихо и спокойно. Наступил март — умер Сталин. Конечно, я, как и все студенты, плакала, горевала. Но не могу сказать, чтобы я уж очень сильно страдала, — я видела на войне, как умирали люди, и давно поняла, что человек смертен. «Сталин умер, но дело его живет!» — звучали заклинания на всех собраниях. В стране шла истерия по поводу «кремлевских врачей-вредителей», «сионистских

наймитов». Героиней на час стала доносчица-шизофреничка Тимашук. И в нашем институте нашлись «деятели», которые посчитали своим долгом включиться в эту кампанию: дело Сталина продолжало жить.

В институте пошли разговоры по поводу моих «странных» политических склонностей и привязанностей. Вспоминали, где и что я сказала, как вызывающе легкомысленно вела себя на каком-то страшно важном мероприятии. Вокруг меня создавалась атмосфера недоброжелательности, иные вчерашние друзья обходили меня стороной.

И вот на вторую половину марта назначается комсомольское собрание для обсуждения моего персонального дела. За всю войну я никогда и нигде не услышала ничего такого, что дало бы мне основание подумать, что я в чем-то ущербна. А тут... Я не понимала: на фронте меня любили раненые, ко мне хорошо относился медперсонал, и никому не было дела до того, как звучит моя фамилия. Тот парень, Медведев, кстати, оказался нукудышным, никчемным — он сладострастно раздувал пустяковый конфликт, увидев в нем повод привлечь к себе внимание.

Это общеинститутское комсомольское собрание я забыть не могу. Уже и комсомола нет, а я все его помню. Мне инкриминировали странные вещи. Оказывается, на первом курсе я отказалась танцевать с Ваней Марушко, потому что от него «пахнет деревней». «Деревня пахнет хлебом, товарищи!» — восклицал один из ораторов. Не буду перечислять другие «обвинения» — противно. Коллективно «гоняли ведьму», а роль ведьмы досталась мне. Аспирант, которого я до этого и не видела, призывал: «Мы должны быть бдительными, товарищи! Вот и в университете раскрыли сионистскую организацию!» Назывались и другие вузы. Какое отношение это имело ко мне, я не представляла. Как позже выяснилось, никаких сионистских организаций нигде не было и в помине. Но некоторые вузы Киева уже захлестнула волна антисемитской истерии. В немилость попадали даже студенты, русские и украинцы по национальности, за то, что женились на студентках-еврейках. Их, оказывается, «завлекли», «вовлекли» и т.д.

Меня «молотили» до трех часов ночи. Наконец поднялся мой однокурсник Борис Кадаколович – по-моему, белорус. Он сказал:

– Ребята, вы что, с ума посходили? Она же все годы с нами училась, что мы, не знаем ее? О чем вы говорите, что вы ее затюкали?

Но это был голос одиночки. Я впервые видела, как еще вчера нормальные люди теряют здравый смысл, впадают в истерию, «разоблачают» и изничтожают человека. Зачем? Почему?

По всей стране шла охота на «сионистов» и «безродных космополитов», и наиболее ретивые в Киеве не желали остаться в стороне. Я не знаю, не помню, был ли на собрании Медведев, которого я наградила оплеухой. Про него все забыли, как и о первопричине моего «персонального дела».

Собрание закончилось в три часа ночи. Оно постановило исключить меня из комсомола и просить дирекцию исключить из института. Слава богу, на советском «дворе» был не тридцать седьмой год, потому что за таким решением тогда автоматически следовали репрессии – лагерь и смерть. Но я была готова ко всему...

Я вышла на улицу – была густая, мрачная мартовская ночь, город спал, горели лишь редкие уличные фонари, и изредка проносились машины. Шла в одиночестве, совершенно убитая, к себе на Красноармейскую и думала: «Что мне делать?» Решила: если меня исключат из института, я покончу счеты с этой жизнью. И я знала, что сделаю это.

В парадном подъезде моего дома вдруг увидела комсорга нашего курса. Он ждал меня, чтобы объяснить, что иначе он не мог поступить. Я не стала с ним разговаривать. У меня не было сил выслушивать его сбивчивый лепет. И сейчас помню, как жалко он выглядел.

Дома вновь вспоминала, что говорили на этом собрании в большом зале, где собрались комсомольцы всего института. Я не могла понять: как за пощечиной хулигану могло забыться то, что я воевала, защищала Родину? Всеобщая истерия – страшная вещь. Выдержать этот «показательный процесс», судилище и остаться здоровой, грубо говоря, не свихнуться – это было непросто. Я выдержала, потому что буквально на следующий день ко мне пришла неожиданная помощь.

Я встала, как всегда, рано, надо было идти на занятия — меня пока еще не исключили. Была так измолочена, так побита, что потребовалось собрать все свои силы, чтобы пойти в институт. Вошла в аудиторию, ни на кого не глядя. Жуткая ситуация... Никто со мной не разговаривал, я — чужачка, меня уже определили во «враги». Мелькнула даже мысль — а вдруг кто-нибудь из заклятых «активистов» спросит: «А ты что здесь делаешь?» Я была готова ко всему.

В аудиторию вошел художественный руководитель курса Иван Иванович Чабаненко — обычно у нас первые две пары были занятиями по актерскому мастерству. Иван Иванович сказал:

— Ох, я забыл журнал в деканате. Быстрицкая, пожалуйста, пойдете принесите его.

Я пошла за журналом. Возвращаюсь — не хочется входить в аудиторию. Решила, что неспроста меня «выделили». Обычно никогда ни за чем не посылали, по мелким поручениям ходили мальчишки. Мне не хотелось переступить порог аудитории, и я остановилась у неплотно прикрытой двери. И вдруг услышала, как Иван Иванович говорит:

— Если кто-нибудь из вас напомнит ей хоть словом, хоть взглядом о том позоре, который вы учинили ночью, — выгоню! Так и знайте.

Всем было известно, что Иван Иванович не меняет своих решений.

У меня в горле застрял комок. Я поняла, что он не отдаст меня. Вошла в аудиторию, положила журнал на кафедру, прошла в тишине на свое место. Для меня вопрос еще ночью, на рассвете стоял трагически определенно: жить или не жить — чисто гамлетовский вопрос. А теперь я решила, что буду не только жить, но и учиться дальше. Но никогда не прошу того позора, который мне устроили, и после окончания института при первой же возможности уеду из Киева, с Украины. Даже не знаю, кого я собиралась этим наказать.

Я действительно после окончания института не была в Киеве пятнадцать лет. После длительного перерыва приехала впервые с моим Малым театром на гастроли. Это был, как говорится, тяжелый случай — я снова все вспомнила: боль ушла, но человек не властен над памятью.



## ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ

Но пока все шло «по порядку». Через какое-то время меня вызвали в райком комсомола. Райкомовский работник сказал мне:

– Дай комсомольский билет...

– Нет! – твердо заявила я. – Билет я получала на фронте! Вот, можете посмотреть издалека – вам я его не отдам!

Эти ценности того времени сегодня считаются дикостью. Но тогда я не представляла, как могу расстаться с комсомольским билетом. Современная молодежь не может понять, как мы жили, как позволяли вот так к нам относиться и вести себя так, как вели. Но ведь мы были честными и чистыми! И просто не знали другой жизни. По крайней мере, многие из нас или почти все.

Работник райкома сказал:

– Хорошо, просто покажи билет, мы хотим посмотреть, уплачены ли взносы.

Я ответила:

– Уплачены! Смотрите, все отмечено!

Тут же был Медведев – он не уплатил взносы за несколько месяцев. Услышав это, я почувствовала себя удовлетворенной. Мне вынесли строгий выговор – об исключении из комсомола речи не шло. Через два месяца его сняли... Но за что мне «выговорили», я так и не поняла – ведь я была права! Меня оскорбили и меня же наказали...

Нелегко было пройти через все это. Но я не позволяла себе впасть в отчаяние, опустить руки. Училась, как обычно, на пятерки, готовилась к выпускным экзаменам. Моей дипломной работой была роль Поэмы в спектакле «Не называя фамилий» В. Минко, популярного драматурга, написавшего нечто вроде пародии на нравы «золотой молодежи».

И педагоги, и сокурсники говорили, что роль Поэмы мне удалась. Я же быстро выбросила из памяти свою глуповатую героиню. Однако она вскоре напомнила о себе...

# Назначение в тупик

Еще до получения диплома мы на курсе бурно обсуждали, кого куда пошлют и кому где предстоит работать. Тогда был жесткий порядок: два года надо отработать по «назначению».

Комиссия по распределению выпускников института направила меня в Херсонский музыкально-драматический театр. Предстоял отъезд в Херсон, и я понятия не имела, как буду там жить, какие роли играть. Было еще в памяти комсомольское собрание, и я помнила свое решение уехать с Украины...

В это время в Киев приехал главный режиссер Херсонского театра. Навсегда запомнила его фамилию – Павел Морозенко. Встретилась с ним. Морозенко бросил на меня оценивающий взгляд. Ткнул в меня пальчиком и сказал:

– Сегодня о съомий, ресторан «Спорт»...

Он предлагал мне в семь часов встретиться в ресторане.

– А я не пиду...

– Ну дывысь, тоби у мене працюваты...

Я воспроизвожу этот диалог на украинском, тогда тамошние провинциальные «деятели культуры» демонстративно говорили на украинском. Но, думаю, читателям понятно и без перевода, для чего он меня приглашал в ресторан.

Морозенко развернулся и ушел. А я буквально закипела. Мне у него работать!.. Во-первых, не у него, а в Херсонском театре. А во-вторых, не поеду я туда! Ехать, чтобы из меня этот Павел Морозенко сделал неизвестно кого? А точнее, известно, не такой уж я была наивной, чтобы не понимать этого.

На следующий день я пошла в Бюро учета и распределения кадров Комитета культуры УССР. Руководила бюро женщина – чиновная, очень уверенная в себе. Я сказала:

– Не поеду в Херсон.

– А чому це так?

Я ей рассказала о «предложении» Морозенко.

Она на меня посмотрела с деланным удивлением и изрекла:

– Вы порочите наши кадры!

Я задохнулась от возмущения: меня режиссер пытается затащить в постель, и я же еще порочу эту «кадру»!

Было очевидно, что дама меня заставит туда поехать. Но я не хотела попасть в публичный дом!

Решительно повторила вальяжной чиновнице:

– В Херсон я не поеду.

Она не стала меня уговаривать: зачем тратить время на какую-то девицу? Куда она денется – не первая такая строптивая...

Не скрою, через несколько лет, когда я уже снялась в роли Аксиньи в «Тихом Доне» и успешно дебютировала в Малом театре, меня очень подмывало позвонить и ей, и «товарищу» Морозенко. И спросить:

– Ну як вы там?

Я знала, что Херсонский театр под руководством этого сластолюбивого режиссера медленно угасал. В своей не короткой творческой жизни я не раз была свидетелем того, как умирает театр, режиссер которого превратил актрис в свой гарем. Искусство не прощает распушенности...

Из Комитета культуры я вышла с твердым намерением взять свою судьбу в собственные руки. Размышляла, думала, искала выход. И решила попытать счастья в Московском театре имени Моссовета, который был в то время на гастролях в Киеве. Требовалось «показаться» художественному совету и руководителю этого театра – а вдруг меня возьмут, случаются же чудеса... Я уже к этому времени снялась в одном фильме, начинала сниматься в другом. Невелик, конечно, творческий багаж, но я им гордилась.

Добилась, чтобы меня принял Юрий Александрович Завадский. Пробивалась к нему очень долго, наконец пришла в Оперный театр, где шли спектакли Театра имени Моссовета. Завадский был на месте. Я очень нервничала – шутка сказать, встретиться с самим Завадским! Он разговаривал со мной в коридоре, мне это показалось плохим признаком. Волнуясь, стала говорить, как хотела бы работать в Москве, в его театре.

Юрий Александрович перебил:

– У кого вы учились?

– У Ивана Ивановича Чабаненко...

– А, так я его знаю, пусть он мне позвонит и расскажет о вас.

– Хорошо, – ответила я.

В институте уже жизнь замерла, сессия прошла, студенты уехали на каникулы, преподаватели – в отпуск. И я позвонила Ивану Ивановичу домой.

Мне на его квартире ответили:

– Иван Иванович поехал в Плюты на дачу.

Плюты – это сорок километров от Киева, на Днепре. Как туда попасть? Кто-то из моих друзей сказал, что есть такой парень, молодой архитектор, который строил в Плютах дачу драматургу Александру Корнейчуку, где тот и живет вместе с женой, писательницей Вандой Василевской.

Я нашла этого парня и попросила его поехать со мной.

– А мне тоже туда нужно, – кивнул архитектор. – Поплывем... Завтра в восемь утра отходит пароход прямо до Плютов.

В половине восьмого я была на пристани. Ни одного билета на этот пароход не было, и на наших глазах он отчалил.

Я пришла в отчаяние. Затягивать время нельзя, каждый день надо было что-то есть, а уже не на что... И я спросила архитектора:

– Петя, а как еще можно попасть в Плюты?

Он ответил:

– Пешком.

– Как? Сорок километров пешком?

– Ну, а что делать? До Корчеватого можно доехать на автобусе, а там все равно пешком.

Мы поехали на автобусе до Корчеватого – это восемь километров. Тридцать два километра надо было пройти пешком.

Когда мы вышли из автобуса, шел проливной дождь. Мы сразу промокли, никакого попутного транспорта не было. И пошли мы по шляху. Видела я тогда очень интересный мираж... Дождь вскоре кончился, и сразу наступила жуткая жара. И где-то на горизонте этот шлях блестел, будто река. Красиво!

Оставалось пройти совсем немного, когда нас догнала грузовая машина, на которой перевозили выкорчеванные пни. Шофер сжался над нами и посадил на эти пни. По проселочной дороге доехали до Плютов и попросили остановиться у дачи Корнейчука.

Я не помню эту дачу, помню Ванду Львовну Василевскую – жену писателя. Она вышла нам навстречу босиком по прохладной земле и напоила холодной водой из погребца.

Я спросила:

– Где найти Ивана Ивановича?

– У Кривого, на краю Плютов.

Я сообразила, что Кривой – это один из местных жителей. Мы пошли искать хату Кривого. Нашли, и я спросила у хозяина:

– Скажите, пожалуйста, где Иван Иванович?

– А он утром уехал в Киев.

Я догадалась, что Иван Иванович уехал в одной из тех машин, которые шли нам навстречу, когда мы добирались до Плютов.

Ужас! Прodelать такой путь – и напрасно? Я даже не задумывалась, когда мы добирались до Плютов: а как же обратно? Такая простенькая мысль не приходила в голову. Была цель, ее надо было достигнуть, а уж потом разберемся...

Кривой, увидев нашу растерянность, стал давать разные советы. Среди них оказался и очень дельный. Из местного дома отдыха в Киев должна идти машина, и если мы поторопимся, то, может, успеем ее перехватить.

Мы помчались в дом отдыха. Там действительно стояла грузовая машина с уже работающим мотором. Ее кузов был битком набит людьми, как бочка сельдями. У самого края, у заднего бортика, нам с Петей достались места – люди потеснились: наверное, им просто стало нас жаль.

В Киев мы приехали в половине одиннадцатого вечера, и я сразу бросилась к телефону-автомату.

Позвонила Ивану Ивановичу домой и попросила его о встрече. Сообщила, что ездила к нему в Плюты, но мы разминулись, а мне надо обязательно с ним поговорить. Наверное, что-то в моем голосе было такое, отчего он не стал задавать вопросы

типа «о чем?». Просто предложил прийти на следующий день к десяти утра в институт.

Я пришла в точно назначенное время и рассказала Ивану Ивановичу, зачем я его искала в Плютах.

— Я прошу вас позвонить Юрию Александровичу Завадскому и рассказать обо мне.

Он ответил, что не может звонить Завадскому, хотя действительно с ним знаком, но правила гостеприимства таковы, что тогда надо пригласить его встретиться. Однако Иван Иванович на это не имеет ни времени, ни возможностей, и вообще его семья сейчас не в Киеве... Словом, есть масса сложностей.

И тогда я сказала, что брала с собою в Плюты почтовую бумагу и конверт, зная, что оттуда невозможно позвонить.

— Я не скажу Завадскому о том, что вы в Киеве, — и протянула ему бумагу и конверт.

Иван Иванович внимательно, долго на меня смотрел, потом взял бумагу. Пока он писал, я сидела молча, сердце у меня вылетало из груди от напряжения и волнения. Когда Иван Иванович закончил, он протянул мне листок и сказал:

— Прочтите, я потом запечатаю.

Это был очень хороший отзыв обо мне. Просто великолепный.

Отзыв растрогал меня до слез. Второй раз Иван Иванович приходил мне на помощь. Ведь это он на следующий день после памятного мне собрания привел в чувство оголтелую комсомольскую «братву».

Я отнесла это письмо Завадскому — отдала в коридоре Оперного театра. Стала ждать, что меня позовут на показ. Звонила-названивала, спрашивала. В конце концов проела все деньги, какие у меня были, и почувствовала, что, как говорили в войну, костлявая рука голода скоро схватит меня за горло. Шутка шуткой, но есть надо было каждый день. Требовалось как-то решать эту проблему, услышать «да» или «нет».

Помню, позвонила в очередной раз Завадскому и, может быть, была в разговоре излишне резка. Он спросил с недоумением:

— А что, собственно говоря, вам нужно?

Я ответила уже спокойнее:

– Чтобы меня прослушали.

Юрий Александрович назначил время. На последние деньги я купила пару чулок своей партнерше, моей однокурснице, чтобы она не чувствовала себя обойденной. Ради меня она не уехала из Киева на каникулы, задержалась, и мне хотелось ее поблагодарить. Нынешние выпускницы театральных институтов мне не поверят, но для нас чулки были тогда большой роскошью. Сказала подруге:

– Смотреть ведь нас будут двоих, а кого возьмут – неизвестно.

Я не обманывала: моя партнерша-однокурсница тоже получила возможность себя показать. А дальше – как сложится...

И мы отправились. Собрался художественный совет, внимательно нас посмотрели, ничего мне не говорили. Я показывала отрывок из дипломного спектакля «Не называя фамилий» В. Минко. Моя глупенькая Поэма вторично напомнила о себе.

Пока художественный совет совещался, я ждала. Наконец мне сообщили, что меня возьмут. И выдали мне на руки запрос.

Я поехала с этим запросом в Комитет культуры УССР, с тем чтобы меня направили на работу в Театр имени Моссовета. Пришла в приемную начальника Управления театров. Там услышала, как секретарь кому-то объясняла, что ее начальник через двадцать минут должен уехать в Харьков. Я испугалась, что не попаду к нему. Но он все-таки меня принял. Подала я ему мое заявление с просьбой направить меня в Театр имени Моссовета и запрос театра.

Начальник управления эти бумаги просто отшвырнул от себя и сказал:

– Мы свои кадры не выдаємо...

Я вышла от него ужасно расстроенная: затратить столько сил, так много сделать, чтобы попасть в московский театр, и получить отказ таким образом! Я расплакалась. И уже на улице вдруг подумала: этот начальник скоро уедет, а если бы я его не застала, к кому бы я пошла? Попыталась бы попасть на прием к его руководителю. Я не привыкла сдаваться без боя. И направилась к заместителю министра. Меня к нему пустили. Не возьмусь сейчас припомнить, что

я в отчаянии лепетала, но, кажется, нашла совершенно «неотразимый» довод: решается моя судьба, а украинское театральное искусство не пострадает от моего отсутствия.

Заместитель министра меня пожалел и разрешил отпустить в Москву. Думаю, понял, что это несравненно лучшее назначение для начинающей актрисы, нежели захудалый Херсонский театр. Или что-нибудь знал о Павле Морозенко...

Я получила направление, отнесла его в Театр имени Моссовета, который все еще был на гастролях в Киеве. И мы договорились с директором, что к 1 октября я приеду в Москву.

Со спокойным сердцем и с большими надеждами на будущее отправилась я в Вильнюс к родителям — отдохнуть после окончания института и приходиться в себя от истории с моим определением на работу. Честное слово, я заслужила отдых. И я не подозревала, что судьба готовит мне испытание.

Десятого сентября в Вильнюс на мое имя из Москвы пришел толстый пакет. В нем были все мои документы и небольшое официальное письмо о том, что я не могу быть принята в театр без московской прописки, а без работы меня не пропишут. В те времена было немало нелепостей подобного рода. Я не могла понять, как это может быть. Выходило, что ни при каких условиях я не могу стать актрисой Театра имени Моссовета и вообще любого московского театра. Очередной тупик...

Ну что было делать? На Украину я твердо решила не возвращаться, в московский театр пробиться не смогла. И я пошла в Вильнюсский русский драматический театр проситься на работу. Мама с папой относились ко мне с сочувствием, но помочь ничем не могли. В семье убежденно считали, что быть актрисой — это не профессия. Папа так и говорил:

— Все беды в том, что у тебя нет профессии. Надо что-то уметь делать.

Он, видимо, понимал это так: проявление актерских способностей — любительское дело. Знаете эту побасенку про портного, который говорил, что если бы он стал королем, то жил бы лучше короля, потому что еще немножко бы шил...



## ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ

В театр я принесла весь комплект своих документов. Отдала их и стала ожидать в приемной. В это время шел художественный совет театра. Члены совета выходили поочередно в приемную по каким-то незначительным делам. Я понимала, что они меня смотрят, чувствовала это. Потом меня пригласили к главному режиссеру, и он сказал:

– Да, конечно, то, что Завадский хотел вас взять к себе, для нас очень много значит, но все-таки хотелось бы посмотреть, что вы умеете.

Мне это очень понравилось. Сказала, какие у меня были дипломные спектакли.

– У нас как раз репетируется «Не называя фамилий», – сообщил главный режиссер.

Так моя Поэма в третий раз напомнила о себе.

Но я ведь учила роль на украинском языке! И попросила отрывок из пьесы, чтобы выучить его на русском. Кроме того, было несколько вариантов пьесы В. Минко, и я уточнила, какой из них репетируется в этом театре.

Буквально через два-три дня мне назначили показ. Я его прошла, и меня приняли...

...Через несколько лет с помощью своих друзей я выяснила, почему все-таки мне отказали в Театре имени Моссовета. В сказки об отсутствии прописки я верила недолго. Если бы театр захотел, меня взяли бы и без прописки – смогли бы ее оформить, у них была такая возможность.

Все дело оказалось в том, что в театр пришло из Киева двадцать семь анонимок: я, мол, такая и сякая... Упирали, как тогда было модно, на «моральный облик», то есть на то, что невозможно ни доказать, ни опровергнуть. И руководители театра дрогнули. Тем не менее я свое обещание выполнила – в Киев не возвратилась, осталась в Вильнюсе, о чем не жалела. А тех, кто на меня строчил клеветы, никогда не искала – Бог им судья...

# Друг по имени Волк

Начало работы в Вильнюсском драматическом театре у меня совпало со съемками фильма «“Богатырь” идет в Марто». На последнем курсе института я очень подружилась с секретарем дирекции Киностудии имени А. Довженко Яной Гречушниковой. Это была очаровательная молодая женщина, вопреки своей профессии секретарши отзывчивая и добрая. Она очень за меня болела, когда я снималась в картине «В мирные дни». И, кажется, именно Яна сообщила мне, что будет сниматься новый фильм под названием «“Богатырь” идет в Марто». Я прошла пробы, и меня утвердили на роль радистки. Уехала в Вильнюс, и уже оттуда меня стали вызывать на съемки.

Этим фильмом я никогда не гордилась. Но мне было очень лестно, что работала с хорошими актерами — с Вячеславом Тихоновым, Караманом Мгеладзе и другими. Добрые, немного странные отношения у меня сложились с Николаем Афанасьевичем Крючковым, уникальным актером и обаятельным человеком. Во время съемок это был очень приветливый, дисциплинированный, высокопрофессиональный актер. Я не помню, чтобы он капризничал, опаздывал, кому-нибудь грубил, то есть совершенно не страдал от «звездной болезни». А в свободное от работы время резко менялся...

Но обо всем по порядку. Был какой-то праздник, и меня посадили возле Николая Афанасьевича. Он что-то выпивал, а может, и ничего — не помню. Но вдруг мне сказал, чтобы я кое на что согласилась или... ушла. Я встала и гордо удалилась. После этого мы с ним стали друзьями, у него ко мне появилось совершенно другое отношение.

И был вот какой случай. Нужно было уезжать из Крыма со съемок, а он в это время, мягко говоря, был не в форме. Администратор фильма никак не мог заставить его выйти из номера. Надо было ехать из Ялты до Симферополя, и все мы очень боялись опоздать на самолет.

Администратор стал меня упрашивать:

– Попробуй ты, может, он тебя послушает...

Все уже заметили, что Николай Афанасьевич относится ко мне с теплотой.

И я действительно его уговорила, он пошел в машину. Но в спешке я забыла в своем номере сумочку с документами и билетом. Вспомнила об этом на полпути к Симферополю. С нами в машине ехал администратор, он позвонил куда-то, сказал: номер в гостинице такой-то, в нем документы и билет Быстрицкой... Дорога до Симферополя длинная, Николай Афанасьевич пришел в себя, в аэропорту договорился, чтобы меня посадили в самолет без документов и без билета. В Москве он продолжил свое «шефство» надо мной и купил билет до Вильнюса. «Но деньги ты мне возврати», – предупредил. Мне это очень понравилось. И я пообещала в свой очередной приезд в Москву отдать долг. То есть сложились нормальные человеческие отношения: он меня не «покупал», он меня выручал.

Прилетели в аэропорт в Москве, и все таксисты хотели посадить его в свои машины, называли по имени-отчеству. Такой известности, такой всенародной славы вряд ли кто-то из актеров добился. Ну, может быть, так же знали Любовь Петровну Орлову. Или Петра Алейникова. Но у Крючкова была своя слава, такой не было ни у кого.

И после съемок все мои встречи с Николаем Афанасьевичем были добрыми, теплыми. Я точно знала, почему он стал любимцем «простой», как говорят, публики. Кроме уникального, чисто русского таланта у него была широкая душа, открытая всем. Люди это интуитивно чувствовали.

Из Москвы я должна была улететь в Вильнюс – там все еще были мой дом и моя основная работа. Но у меня возникла неожиданная проблема. Я всегда мечтала обзавестись хорошей собакой. Мои друзья шутили, что у меня с собаками, которые были у многих из них, складывались странные отношения. Я с ними разговариваю, как с людьми. Я их понимаю, и они меня тоже понимают. Кажется, мы настроены на общие волны.

У Яны Гречушниковой была очень строптивая овчарка, которой она дала мое имя – Эля. «Барышня» своенравная, ее никак не

удавалось спарить, «женихи» шарахались от нее с лаем и визгом. Ее отвезли в зоопарк и запустили в клетку к волку. Перед матерым волчарой Эля не устояла. Родились щенки — помесь овчарки и волка. Последыша Яна подарила мне, и я, не мудрствуя лукаво, назвала его Волком. Временно он жил у Яны.

Съемки фильма завершились. Сценарий был слабеньким, фильм получился о чем-то героически-морском, успех его не ждал. Я получила свой гонорар и засобиралась в Вильнюс. Яна принесла двухмесячного Волка в аэропорт. Никому и в голову не пришло, что такому «пассажиру» требуются ветеринарные справки и еще какие-то документы.

Щенок сидел в корзинке, и Яне удалось уговорить стюардесс взять Волка на борт. Волк меня узнал! Он, лобастый, пушистый, буквально пищал от восторга и вообще всячески демонстрировал свою радость. А ведь я виделась с ним однажды минут сорок у Яны...

Волк себя очень хорошо вел, пока мы летели. Маленький, он уже понимал, что не следует привлекать к себе внимание.

Самолет на Вильнюс летел с посадкой в Минске. В Минске нас с Волком высадили, не помогли никакие уговоры. То ли экипаж сменился, то ли все-таки стало известно о «недозволенном» пассажире: ветеринарный контроль был строгим. Я стала думать, как нам добраться до Вильнюса. О том, чтобы расстаться с Волком, даже не помышляла. На железной дороге нас в вагон тоже не пустили без документов на Волка. А документов у меня не было, щенка ведь мне подарили.

И мне пришлось взять такси до Вильнюса. Весь свой гонорар за фильм я потратила на это путешествие. Волк понимал, что происходит что-то необычное, жался ко мне, заглядывал в глаза. Я ему сказала: «Я тебя не брошу», — и он меня понял, успокоился. Пока мы ехали — а это не один час, мы очень подружались, и я поняла, что у меня появился друг, очень серьезная собака.

Потом Волк вырос и стал замечательным псом. Я любила с ним гулять, он с большим достоинством шел рядом и гордо нес свою красивую голову. Мы ходили на речку, и он очень любил таскать большие-большие булыжники. Возле дома из них сложилась целая горка.

Волк не терпел унижений. Ребятишки его дразнили, швыряли в него камни. Он долго не обращал на это внимания, но обидчиков запомнил и однажды не выдержал, укусил мальчишку. Волк был в строгом ошейнике, но без намордника. Он куснул, тут же принял царственную позу и пошел дальше рядом со мной. Были неприятности...

Волк жил у меня несколько лет. Когда начались съемки «Тихого Дона», я вначале брала его в экспедиции, но, естественно, постоянно не могла возить туда-сюда, уделять много внимания. Когда я уезжала, с Волком никто справиться не мог, в том числе и мои родные, он себя вел очень плохо, признавал только меня, свою хозяйку. И я подарила его хорошей семье на одном хуторе. Волк был выдрессирован, отлично нес сторожевую службу, но в городских условиях жить такому огромному псу с волчьим норовом было трудно. Я потом семь лет бегала за каждой собакой, на него похожей...

Потом, спустя годы, мне подарили очаровательную девочку-пекинеса. Фифа — маленькое, очень красивое чудо. Утром Фифа обычно приходила ко мне в постель и воображала себя чрезвычайно важной персоной. Как-то у меня было плохое настроение, она это почувствовала и буквально «вымыла» мне язычком руки до локтей. Я не могла понять, с чего бы это. Никакими кремами я не натиралась. Она, очевидно, пыталась меня утешить, приласкать, и я была тронута до слез. Настроение мое поднялось — наступал обычный день.

Фифа была замечательным товарищем, она очень тонко чувствовала все, что происходило вокруг. Дружочек необыкновенный, на нее посмотреть — и то радостно.

Пекинесы — китайские дворцовые собачки. Мне очень нравится легенда о том, как они появились. Лев влюбился в обезьянку... И очень страдал: обезьянка маленькая, а он такой большой! Но лев чувствовал, что обезьянка тоже к нему равнодушна. И он обратился к Богу, стал умолять, чтобы тот ему помог. Бог его спросил: «Если я тебя сделаю маленьким, как ты к этому отнесешься?» И ради любви лев на это согласился. Легенда гласит, что так появились первые пекинесы: от льва и маленькой обезьянки, от необычной и краси-

вой любви. У меня есть картинка, на которой изображены тринадцать пекинесов: пушистые, очаровательные, и глаза у них мудрые. А под ними подпись: «Давайте жить дружно».

Моя Фифа досталась мне не очень обычным способом. Когда я рассталась с Волком, очень тосковала. Но прекрасно понимала, что моя профессия мешает обзаводиться новой большой собакой. И подумала, что могла бы приобрести маленькую собачку, которую можно возить с собой, а не оставлять дома и уговаривать знакомых присматривать за нею. Через много лет я позвала к себе на дачу друзей, и мы поехали на ближайший рынок, чтобы чего-то прикупить к столу. Мужчины сказали:

– Мы сами все купим, вы не подходите к торговкам, а то с вами все получается дороже.

Кстати, это необъяснимое явление: при взгляде на меня продавщицы немедленно поднимают цены.

Я пошла в тот рыночный ряд, где выстроились торговцы щенками, котятками, кроликами и прочей живностью. Подумывала о йоркширском терьерчике – они маленькие такие, ершистые. И вдруг увидела, что несут крошечку, которая могла поместиться в ладошках, – курносенькую очаровашку.

– Можно посмотреть? – спросила я.

– Пожалуйста.

Я взяла крошку в руки. Собачка тут же начала язычком облизывать руки, ткнулась мордашкой в щеку – веселая, ласковая.

– Как ее зовут?

И вдруг называют уменьшительное имя моей покойной мамы, Эсфирь, родные называли ее ласково Фирой. Я никогда не слышала, чтобы у собачки было имя Фира. Это было 9 августа, а 11 сентября – день смерти мамы. И я решила, что это мама посылает мне такой подарок, напоминает о себе.

Спросила, сколько стоит собачка, и услышала сумму, от которой мои длинные волосы встали дыбом. Стою и думаю, где мне такие деньги взять. Это был 1998 год – дефолт и прочие радости-гадости. Да и сегодня я бы таких денег не собрала. Стою и думаю: что продам, у кого займу? Словом, разные мысли лезли в голову, совсем не по

## ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ

моим финансовым возможностям. И вдруг вижу: какой-то мужчина берет собачку. Подходит ко мне, протягивает ее и говорит:

– Я ваш почитатель... Прошу, возьмите ее...

Я была потрясена и, конечно, стала отказываться, сказала, что это очень дорогой подарок и я не могу принять его от незнакомого человека.

Он стал меня уговаривать: «Я работаю в таком месте, что могу себе позволить сделать вам этот подарок. И не отказывайтесь, пожалуйста...»

С тех пор я каждый божий день вспоминаю этого незнакомца добрым словом и мысленно благодарю.

Мы прожили с моей подружкой Фифой душа в душу 17 лет. Потом наступил ее час. Но я не осталась одна.

Теперь рядом со мной две милые собачки – карликовые шпицы, одна черная по кличке Асса, другая абрикосовая, ее зовут Пуля. Новые друзья, люди они или собаки, не заменяют ушедших, они занимают свое место, не то, которое освободилось.

# Русские драмы с ЛИТОВСКИМ акцентом

В Вильнюсском русском драматическом театре я работала с удовольствием. Пусть это было не совсем то, о чем я мечтала, но сейчас, с высоты опыта моей жизни в искусстве, я понимаю, что тогда я получила хороший шанс. Сколько талантливых девочек затерялось по простой причине – первые шаги им пришлось делать в убогих провинциальных театрах, раздираемых склоками, в случайно сложившихся труппах, которыми руководили бездарные, но амбициозные режиссеры!

Я ни в коей мере не хочу бросить тень на многие прекрасные театры в больших и малых городах страны. Там работали и работают поистине одаренные актеры и режиссеры. Не случайно именно провинция бесперебойно поставляет таланты в Москву и крупные города. Провинция – это ведь не географическое понятие, этим словом в России всегда обозначали уозость кругозора, миропонимания. Вильнюсский драматический театр никогда не был провинциальным – это был театр с европейскими традициями, с очень прогрессивными взглядами. В нем культивировались подчеркнуто уважительное отношение к актерам, тщательный подбор репертуара.

Моей первой ролью была роль Тани в одноименной пьесе Алексея Николаевича Арбузова. Таня – врач по профессии. Вообще я никогда не отказывалась играть на сцене врачей, даже если была слабая роль. Считала, что так я отдаю свой долг родителям, которые мечтали видеть меня врачом. Это, конечно, эфемерное утешение, тем не менее так было.

С огромным удовольствием я репетировала эту роль. Знала, конечно, что ее играла в Москве великая Мария Ивановна Бабанова. Роль действительно была замечательной, я считала, что мне крупно повезло, когда ее мне отдали. Честно говоря, я даже не рассчитывала на такое начало моей театральной карьеры в Вильнюсе.



И вот пришел день премьеры... Я попросила родителей не приходить в театр — у меня все-таки были с ними натянутые отношения: я поступила не так, как они хотели, и они не верили, что я чего-то смогу добиться. Родители сказали мне, что и не собирались идти на мою премьеру. Возможно, я обидела их своей просьбой.

Помню, как я волновалась и как сыграла эту роль. Наконец — финальные сцены, зажглись люстры, зрители очень долго не отпускали актеров, занятых в спектакле. Потом я уже одна выходила на сцену — меня актеры буквально выталкивали из-за кулис на поклонны, потому что зрители требовали «Таню». Успех был ошеломляющим. Мне преподнесла огромный букет желтых хризантем сотрудница папиного госпиталя. Не помню сейчас, кем она была — то ли сестрой-хозяйкой, то ли старшей хирургической сестрой. Но знаю, что она была фронтовичкой. И помню ее слова о том, что она сама вырастила эти цветы.

Это был первый букет, полученный мною на театральной сцене. Если я сейчас скажу, что он остался для меня самым дорогим, многие сочтут меня сентиментальной. Но это правда: первая большая роль и первые цветы...

И вот все закончилось: аплодисменты, поздравления. Я разгромилась, дождалась своего троллейбуса и поехала домой. Наш театр был не настолько богат, чтобы развозить на машинах после спектаклей даже исполнителей главных ролей. Ехала и думала: какая же я дура! Надо было сделать так, чтобы родители посмотрели мою игру, они бы поняли, что я пошла учиться туда, куда мне надо, и что я делаю то, что и должна делать.

Вспоминаю, как поднималась по лестнице в удрученном настроении: ну вот, сейчас никто даже не будет разговаривать со мною о спектакле, домашние сделают вид, что ничего не случилось — обычный вечер...

Я позвонила, дверь распахнулась, меня ждали. Мама и папа все-таки были на спектакле! За маминой спиной я увидела, что кипит самовар, у нас его всегда ставили по праздникам. Мы сели пить чай, и папа сказал тогда:

— Твоя взяла. Работай...

Я восприняла его слова как прощение. Папа вообще всегда был лаконичен. И это было прощение очень многого. Словно бы в этот вечер я и мои родители избавлялись от всего, что нас разъединяло.

Через какое-то время я получила вторую роль врача — Ольги, тоже в спектакле А.Н. Арбузова «Годы странствий». Тогда эта пьеса шла по всей стране. Ольга мне очень нравилась, и я с большим удовольствием ее играла. Много лет уже отделяют меня от Тани и Ольги, а я их по-прежнему люблю.

Мне везло и в другом плане: я оказалась в стороне от политических бурь, которые терзали Литву в послевоенные годы. Моим делом были театр, спектакли, роли, и я не желала знать ничего иного. В нашем театре были прекрасные отношения между людьми разных национальностей, более того, национальная принадлежность ни для кого не имела значения. Меня никто и никогда там не обидел и не оскорбил. Прекрасно чувствовали себя в этом коллективе и другие актеры. Наверное, потому, что Литва изначально, с древних времен была многонациональной. Имелись, конечно, различия в отношении к тем, чьи корни были на литовской земле, и к тем, кто приехал, переселился сюда гораздо позже. Но нам никогда не давали это понять.

Из Вильнюса я выезжала в Ленинград сниматься в «Неоконченной повести». И продолжала играть в театре. У меня была замечательная роль Клавдии Ивановны — медсестры в «Повести о настоящем человеке». Я сыграла неожиданно для себя роль Аленушки в спектакле «Аленький цветочек». С удовольствием играла Варю Белую в «Порт-Артуре». Были и другие роли. Для меня большой удачей оказалось то, что я постоянно была в работе, ибо нет ничего опаснее для молодой актрисы, чем прости, ожидания и неопределенность. Роли у меня были очень разные, но я не привередничала, соглашалась на все, что требовалось моему театру. Повторю, это был хороший театр. Его главным режиссером был тогда Андрей Константинович Поляков, директором — Оленев. В труппу входили замечательные актеры — Ольга Холина, Дубравин. Моим партнером был Ефим Байковский, он потом много лет очень успешно работал в Москве и закончил свой творческий и жизненный путь в Театре им. Маяковского.

Когда Вильнюсский театр гастролировал в Москве, я ходила на его спектакли, смотрела... Увы, из моих давних друзей там почти никого не осталось. Художественные руководители сменились, на смену тем, кто работал в мое время, тоже пришли новые люди. Когда бываю в Вильнюсе, обязательно иду в театр.

Я приехала в Вильнюс в 1953 году, а уехала в 1956-м. Почти три года... Вспоминаю эти годы и этот город добрым словом. В этом городе похоронены мои родители, он остается для меня родным, я его помню красивым и радужным.

Мне было очень хорошо в Вильнюсе. Во-первых, город замечательный, высокой культуры. Я имею в виду культуру быта, повседневных отношений между людьми, хотя условия жизни там, как и в других городах, были трудными.

Во-вторых, город очень красив... со старинными зданиями, ухоженными скверами и парками, очень чистенький и аккуратный. Река Нерис пересекает его голубым лучом, по ее берегам приятно гулять.

Я приобрела байдарку и часто на многие километры уходила на веслах вверх по довольно быстрому течению. Полюбила одиночество, когда остаешься наедине с природой. Однажды мои друзья пригласили меня на рыбалку — самую простую, с удочками. Первая пойманная мною рыбка оказалась для меня неожиданно завлекательной — я пристрастилась к рыбной ловле на всю жизнь. Друзья подшучивали надо мной, говорили, что это мужское занятие. Самое странное, что впоследствии я увлеклась и другими «мужскими занятиями» — о них я еще расскажу.

Возвращаясь мысленно в свой «вильнюсский период», я могу теперь сказать — хорошая это была жизнь. Удача мне сопутствовала, и самое главное — все у меня было еще впереди...

Есть причины и для сентиментальных воспоминаний. Я там снова едва не вышла замуж... Я не люблю об этом рассказывать. И сейчас ограничусь только словами о том, что такая ситуация, как говорится, имела место. Но я убедилась, что это тщетные усилия — пытаться искусственно выстроить что-то. Надо поступать так, как подсказывают чувства. Мама и папа страдали, что я не замужем, они

часто заводили об этом разговоры. Словом, все, как у всех: родители начинают волноваться, что у них не будет внуков. Они жили надеждами на чудо — ведь прекрасно знали, что детей иметь я не могу. В юные годы в госпиталях я, девчонка, таскала тяжелые носилки с ранеными. Не женская, и тем более не девичья это была работа. Какие у меня там были силенки! Догадываюсь, что отец знал о моих неладах со здоровьем. Но сказал мне об этом лишь несколько лет спустя, когда я и в самом деле вышла замуж. Это был приговор врача: «Детей у тебя не будет, в любом случае не стоит рисковать».

С большой болью он мне это сказал...

Признаюсь, я все время надеялась: папа ошибается, прошло уже несколько лет после войны, я чувствую себя вполне здоровой. Увы...

Сегодня я думаю: как жаль, что у меня нет детей. Правда, неизвестно, какими бы они были. И так ныне в этом плане много беды. Ничего ведь не проходит зря, ничего не дается легко. И ничто не остается безнаказанным. У беды есть странное свойство передаваться по наследству. Я не говорю о генетической наследственности, о болезнях. Речь идет о социальных последствиях. Пережитое нами явно сказывается на новых поколениях. Им в наследство досталось не только то лучшее, чем жили мы, но и проблемы в интеллектуальном, культурном развитии, созданные жестокими военными и трудными послевоенными годами.

Об этом я впервые задумалась, когда играла Ксению Румянцеву в фильме «Все остается людям». Да, правильно: все остается людям. Это значит — каждому из нас. Но чувство потери чего-то очень важного неизменно появляется у меня при мысли о детях...

Мои родители прожили в Вильнюсе до самой смерти. Папа временно уезжал: его отправляли служить в Черняховск, потом на Камчатку. Он был человеком совершенно безотказным: куда велели — туда и ехал. Но всегда возвращался в Вильнюс. Мама ездила к нему в Петропавловск-Камчатский, это было как раз в то время, когда на экраны вышла «Неоконченная повесть». Но я еще расскажу об этом...

Конечно, в театре без особого восторга относились к моим частым выездам на съемки. Я понимала дирекцию — актрису приходи-

## ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ

лось подменять, кого-то вводить на ее роли... Со мною проводились «профилактические беседы», однажды даже в такой беседе прозвучало предостережение.

Но я не могла отказаться от съемок, ибо они словно были окном в другую, более просторную и значимую жизнь. Эти мои слова не должны восприниматься с обидой для Вильнюсского театра — актриса всегда должна желать большего. Застыть на точке первого успеха — значит подрубить свое будущее. Мне было свойственно постоянное недовольство собой, и я всегда довольно скептически воспринимала похвалы в свой адрес. Хотя, не скрою, слышать их было приятно.

К чести для моих литовских коллег того времени скажу, что они относились без зависти к тому, что меня приглашают на съемки и пробы. Просто это было неудобно театру. У меня тоже были свои претензии. Я работала уже три с половиной сезона. За это время вышла на экраны «Неоконченная повесть», и в театр зрители уже ходили «на меня». То есть я стала ощутимо помогать сборам театра. А мне все не повышали зарплату: я, как и вначале, получала шестьсот рублей. Чтобы мои нынешние читатели, когда уже иные деньги, поняли меня, объясню, что это была зарплата самой «маленькой» служащей. У секретарш иных начальников оклады были гораздо выше. И однажды я директору театра сказала: «Что же вы мне зарплату не повышаете, я ведь давно уже у вас работаю». Мне нелегко было решиться на такой разговор, и провела его я как бы мимоходом. Просто я уже устала жить в постоянной нехватке всего, что требуется нормальному человеку, тем более молодой актрисе. Директор невозмутимо ответил: «Еще не время».

Я обиделась. Жить на такие деньги было невозможно, а находиться на иждивении родителей я больше не могла и не хотела. Конечно, я подрабатывала, ездила на киносъемки, но это все от случая к случаю, возможностей что-то заработать было немного. Да и платили «актрисе из Вильнюса» за съемки не очень щедро... И все чаще я задумывалась над тем, что, как бы ни было мне уютно в Вильнюсе, надо думать о будущем.